

[Polaris]

А. СВИДА



*ПАНИКА В
БОРКАХ*

Русский оккультный роман
Том II

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CLXX



Salamandra P.V.V.

**АЛЕКСАНДРА
СВИДА**

ПАНИКА В БОРКАХ

Роман

Русский оккультный роман
Том II

Salamandra P.V.V.

Свида А.

Паника в Борках: Роман (Русский оккультный роман, т. II). – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2016. – 190 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CLXX).

В подмосковской дачной местности ширятся слухи о нежити. С таинственным медиумом Прайсом соперничает международная шайка преступников. Взрыв кареты новобрачных, гибель богатого фабриканта и опереточной дивы ставят сыщиков в тупик. Параллельно разворачивается кровавая сага миллионера-убийцы и череда вампирических нападений.

Захватывающий фантастический детектив А. Свида – вторая часть дилогии об агенте уголовного сыска Зенине и расследовании, ставшем делом его жизни. Роман вышел в свет в начале 1930-х гг. и переиздается впервые.

Книга А. Свида продолжает в серии «Polaris» ряд публикаций фантастических и приключенческих произведений писателей русской эмиграции и новую подборку «Русский оккультный роман».

А. СВИДА

**ПАНИКА
въ БОРКАХЪ**

РОМАНЪ

ИЗДАНИЕ М. ДИДКОВСКАГО

Рига, Кръпостная ул., № 43/45.

ПАНИКА В БОРКАХ

Глава I

Сеанс ясновидения

В конце Остоженки, выходящей к храму Христа Спасителя, на крыше углового дома вывеска: «Общество спиритуалистов-догматиков». Во дворе этого дома помещается редакция журнала и газеты упомянутого общества, и там же по субботам назначаются общие собрания с чтением отчета о спиритических сеансах за истекшую неделю и устраиваются, так сказать, показательные сеансы из области спиритизма и оккультизма. Сегодня предстоит особенно интересный вечер: г. Прайс, имя которого приобретает все большую и большую известность среди оккультистов Москвы, обещал дать сеанс ясновидения.

Помещение издательства по этому случаю переполнено до отказа. Стоят в кабинете редактора, в коридоре, заведывая счастливым, успевшим занять сидячие места в большой приемной комнате.

Среди солидных дам и мужчин мелькают молодые лица студентов и курсисток; между последними пробравшиеся, пользуясь сутолокой, при помощи лицеистов две юные гимназистки. Они забились в уголок и волнуются, опасаясь проверки входных билетов, которых, конечно, не имеют.

— А вдруг будет проверка! Какой стыд! Что тогда делать? — шепчут тревожно, беспомощно поглядывая на своих провожатых, которые стараются ободрить их и взглядами, и пожиманием плеч, и уверениями, что здесь этого никогда не бывает.

Лиза Карташова и Ляля Босс им верят, но все же для большей безопасности прячутся за спины впереди стоящих от взглядов председателя общества Владимира Ивановича Быковского; им все кажется, что он смотрит исключительно в их сторону.

— Вот несносный, — шепчет Лиза, — ну чего не читает свой отчет? Так хочется отбыть эту скучищу и увидеть душку Прайса!

— Тише ты, — слегка подтолкнула ее Ляля, — отчет тоже интересен, у них, говорят, на сеансах являются покойники!

— Я вижу, вы набрались большой храбрости, разговорились и не видите, что Быковский поглядывает в нашу сторону. Вот заметит двух таких неоперившихся птенчиков и попросит удалиться, — поддразнил их брат Ляли.

— Подумаешь, какая сам большая птица! Хоть бы здесь поудержался от глупых замечаний, — гневно сверкнули на него глазки сестры.

— Ш-ш-ш! — оглянулся седой господин.

Минута молчания. Быковский протирает очки, а секретарь общества Елена Михайловна Кирикова шелестит бумагой, подбирая листы отчета.

— Ох, Боже мой, как сердце бьется, — возбужденно шепчет Лиза Карташова. — Скорее бы увидеть Прайса. Прайс! Как много в этом имени волнующей и прелестной жути тайны!

— Волнующей и прелестной жути тайны... Недурно сказано даже для женщины! Что за «душка» ваш учитель словесности; молод, красив и не требует знаний! Чего же еще нам хотеть, — шутливо напел им в души студент Босс.

— Уйди от нас, глупый Витька, — пришла на выручку своей покрасневшей подруге Ляля. — Сам вчерашний гимназист! Знаем мы, как писались ваши сочинения!

— Как же они писались, умная Лялька? Не забывай, что я уже студент-филолог, а ты...

Неизвестно, до чего дошла бы их стычка, если бы в этот момент, чуть постучав о стол карандашом, не встал Быковский:

— Милостивые государыни и милостивые государи, сегодняшнее наше очередное собрание как по составу собравшихся здесь лиц, так равно и по программе предполагаемых опытов, носит исключительный характер. Участие в сегодняшнем сеансе известного медиума г. Прайса возбудило, очевидно, всеобщий интерес и привлекло много посетителей, которые, не принадлежа к составу общества и не будучи в курсе его деятельности, едва ли могут обычным

еженедельным докладом интересоваться; ввиду этого я позволю себе отложить его чтение и дать лишь некоторые пояснения по поводу предстоящих опытов, которые заинтересовали собравшихся здесь, а именно — опытов ясновидения. Сам термин «ясновидение» обычно у непосвященных вызывает самые разнообразные представления о предмете; многие считают ясновидение шарлатанством.

В самом деле: целый ряд лиц, именующих себя ясновидящими, эксплуатируют доверчивых людей, и играя на естественном любопытстве узнать чужое прошлое или увидеть свое будущее, в конце концов обманывают их.

В действительности ясновидение является одной из медиумических способностей человека. Способность ясновидения, как и всякая другая, развиваясь в благоприятных условиях, получая соответственное воспитание, может в своих проявлениях достигать результатов, кажущихся сверхъестественными. Эти-то проявления способности ясновидения нам предстоит сейчас с вами наблюдать, и я обращаюсь к вам с просьбой относиться совершенно объективно ко всем явлениям, памятуя, что нет вообще ничего сверхъестественного и все те опыты, которые мы будем здесь производить, относятся к области психики, еще сравнительно мало исследованной. Присутствующий здесь г. Прайс обладает разнообразными и сильно развитыми медиумическими способностями и для большего успеха сеанса каждый из нас, не теряя способности объективного наблюдения и критического рассмотрения происходящих явлений, должен подчиниться всем, облегчающим производство опытов, требованиям по указанию г. Прайса.

Быковский окончил. Комнату начали готовить к сеансу. Стулья сдвинуты к стенам, на середину поставлен стол с большим черным полированным шаром. Электричество погашено, за исключением одной лампы под красным колпаком. Строго смотрят глаза святого Серафима Саровского, громадная икона которого висит в углу. Трещит фитиль в горящей перед ней лампаде, чуть слышно перешептывается публика, скрипит паркет... По углам расползаются тени...

Бесшумно открылась входная дверь из коридора и вошел высокий, худой, одетый во все черное Прайс. Попавшая каким-то образом в первый ряд Лиза Карташова вся похолодела и замерла, прямо в лицо ей сверкнули зеленые зрачки. На кроваво-красных губах Прайса мелькнула плотоядная улыбка и тотчас исчезла. Глаза чуть прищурились, и холодный взгляд скользит по лицам.

— Вы желаете увидеть при моей помощи вашу умершую мать, — остановил он внимание на молодой болезненной даме. Та смутилась.

— Я, действительно, об этом думала!

— Прощу вас подойти к столу и громко рассказывать все, что вы увидите в шаре!

Едва взглянув на шар, дама заволновалась.

— Я вижу комнату нашего деревенского дома... У углового раскрытого окна сидит женщина. Ветер чуть шевелит края занавески и ее седые волосы. Фигура и лиловое платье похожи на... Она оглядывается... Мой Боже!.. Это мама!

Прайс взмахнул руками.

— Что вы видите теперь?

— Ничего! Шар померк, он даже не блестит своей полировкой... Я... я бесконечно благодарна вам, г. Прайс!

С легким поклоном и слабой улыбкой на еще больше побледневшем лице молодая дама возвратилась на свое место.

— Прощу, — коротко пригласил Прайс.

Мягко звякнули шпоры и на середину комнаты вышел ротмистр Сумского драгунского полка Полянский.

— Вы хотите знать ваше ближайшее будущее? — спросил внимательно смотревший ему в глаза Прайс.

— О, конечно, мало интересного заглядывать в могилы!

Веселым огоньком вспыхнули темные глаза бравого кавалериста.

— Сосредоточьтесь на одной мысли, а всех вас, господа, — обратился Прайс к публике, — прошу думать только о будущем г. ротмистра и сильно желать, чтобы он его уви-

дел. Я постараюсь устроить из шара экран, на котором промелькнут видимые для всех картины... Спокойствие!..

Прайс поднял над шаром руки и замер в этом положении.

Летят минуты. В красном полумраке комнаты мигает желтый свет лампы, придавая жизнь строгому лику на иконе. Чудится Лизе Карташовой, что шевелятся губы старца, и смотрят на нее его глаза не то укоризненно, не то предупреждая о чем-то грозном. В ней шевельнулось безумное безумное желание уйти, убежать, и тут же ложный стыд, что заподозрят детскую трусость, удержал ее на месте, и с легким вздохом она отвела глаза от иконы.

Затрещало масло в лампаде, язычок пламени ярко вспыхнул, вытягиваясь вверх, и потух... В красной мгле зашевелились тени. В стенах тут и там точно посыпалась штукатурка... Шар заколебался. Казалось, не выдержат больше натянутые нервы зрителей этой гнетущей красной полумглы, как вдруг точно посветлело в комнате и над столом забелел экран. На нем мелькают города, деревни, села, тянется бесконечная дорога, на ней обозы, солдаты, пушки, повозки Красного Креста и вновь солдаты без конца. Вот лес... В нем копошатся люди, над ними вспыхивают белые дымки, разрывы, взметнувшиеся в воздухе клочки деревьев, людских тел, земли. Снова лес... над ним белые домики без счета и конца. Там, очевидно, скрыта батарея. Вдруг на опушке появилась конница. Какое безумие! мчится, растянувшись лентой, прямо на огонь. На правом фланге, пригнувшись к лошади, почти сливаясь с ней, — Полянский.

Что с ним? У поднявшейся на дыбы лошади вывалились внутренности, а сам всадник повис в стремях, весь залитый кровью...

Исчез экран. Померк, не блеснит черный шар. Стараясь сохранить на побледневшем лице беззаботную улыбку, офицер в шутливых фразах благодарит Прайса за доставленное удовольствие заглянуть в будущее и отходит, уступая место подошедшему молодому человеку, одетому с провинциальной претензией на моду: на нем темно-коричневый костюм с иголки, в пестром галстуке булавка с бирюзой,

длинные, слегка завитые волосы. Это — Чайкин, учитель истории из Серпухова, уже не в первый раз посещающий субботние сеансы.

— Вас тоже интересует ваше будущее?

— Не главным образом. Чтобы проверить картину будущего, нужно его еще дождаться и пережить, а я, как неверующий Фома, хотел бы сейчас вложить персты в раны и просить вас показать мне что-нибудь из тех моментов моего прошлого, о которых я сейчас буду думать! — Голубоватосерые со стальным блеском глаза Чайкина скрестились с зелеными зрачками Прайса. Встретились, казалось, равные силы.

Прайс первым отвел глаза, предложил Чайкину занять место между собой и шаром и положил руки на его плечи. Медленно тянется время, убаюкивает красный свет. Все невольно возвращаются к своим обыденным мыслям. Кто-то вздохнул, другой пошевелился; скрипнул чей-то стул. Чайкин саркастически улыбнулся, ему ответили сдержанным легким смешком. Раздалось предостерегающее шиканье немного выступившего вперед Быковского, и все снова застыли в ожидании новых чудес. Чайкин спокойно стоял, скрестивши руки. На лбу Прайса выступили капли пота и напряглись жилы. Неожиданно раздался его скрипучий, но на этот раз сдавленный, глухой и как бы отдаленный голос:

— Для чего вы между собой и мною воздвигаете стену сопротивления? Чего боитесь?

— Я не боюсь и не сопротивляюсь, только на меня не действует ваше внушение. Я ровно ничего не вижу!

В публике сдержанный, едва слышный смех молодежи. Быковский вновь поднимает руку: на молодежь оглядываются, та затихает. Бледное лицо Прайса становится серым. Снова бегут минуты. Шар побелел. Заколебавшийся над ним белый пар разрастается, плотнеет, сливается с шаром, образуя белую завесу, за которой со стороны Чайкина начинают пробегать тени. Они неясны. Опять где-то далеко скрипит, обрывается голос Прайса.

— О чем вы думаете? Кто вы? Какая у вас профессия? Вы близки к мертвым. Вокруг вас брызжет кровь. О, да от вас и пахнет ею!..

Ноздри Прайса странно затрепетали.

— Разве вы не видите трупа с перерезанным горлом, а вог разможенная голова, а там кровь, опять кровь, о-о-о!

У Чайкина широко раскрылись глаза. Видимая для всех на фоне молочного пара, закачалась кровать, на ней прелестная девочка с совершенно почти отделенной головой...

— Милочка Ромова, — раздался истерический женский крик.

На месте кровати появилась обитая материей половина странного ящика, и в нем мужчина с низко повисшей на грудь головой, — над ящиком мелькнуло желтое, косоглазое, ехидно улыбающееся лицо. Белая пелена заколебалась, разорвалась в клочки и расплылась в воздухе.

Прайс, вытирая пот на лбу, бесшумно скрылся за дверью, из которой появился.

Чайкин, избегая расспросов, поспешил уйти. Быковский дал белый свет и громко объявил:

— Вследствие крайнего утомления г-на Прайса, сеанс прекращается; о программе следующего своевременно будет объявлено в нашей газете.

Публика начала неохотно и медленно расходиться, и только в раздевальной начались разговоры.

* * *

Лиза отказалась от всяких провожатых, так как жила в соседнем Лесном переулке. Попрощавшись с ней, молодежь шумной толпой кинулась к подходящему трамваю. Кто-то на бегу бросил ей пожелание увидеть во сне Прайса.

Последнее почему-то не понравилось Лизе, и она ускорила шаги. Бояться нет причины. Тихий переулок знаком с детских лет; дом их стоит посредине. Мать по обыкнове-

нию ожидает ее, раскладывая пасьянс под песнь самовара, а на столе оставленный для нее ужин. Почувствовав одно- временно голод и благодарность к матери, она ускорила шаги; в душе дает слово не обманывать больше мать и чистосердечно признаться, что была не у подружки, а на сеансе ясновидения. Мама сделает строгие глаза, но любящая улыбка в уголках губ даст ей возможность поцелуями закрыть маме рот.

Раз-два, раз-два, — отчетливо постукивают каблучки Лизы по асфальту. Внезапный порыв пронизывающего до костей ветра чуть не сорвал с нее шляпку.

— Что это? Наступает май и вдруг холодный ветер! И почему ни признаков пыли? Тут у нас ее всегда так много... Как холодно и... страшно... Да, да, откуда-то положительно ползет страх. Боясь обернуться, Лиза ускорила шаг. Теперь она уже бежит, но страх не отстает, он за плечами...

— Мама, — по-детски кричит Лиза, но кто-то большой и холодный скользит рядом с ней.

Какой ужас! Прямо в глаза глядят зеленые зрачки Прайса. Ледяная рука хватает за горло. Лизе страшно и душно...

Она погибает...

— По мо-ги-те!...

* * *

Раннее утро.

Калитка в воротах больших меблированных комнат «Бояр» тихо скрипнула. Показался заспанный дворник с метлой. Почесался, сплюнул, зевнул.

— В экую рань подымайся! Иди, убирай. И на кой черт тут, прости Господи, подметать. Живой души часто не увидишь! Да никак это я раньше всех поднялся? — чуть рта не разорвал Аким в сладкой зевоте и взглянул вдоль переул- ка.

— Вот тебе и раз, — хлопнул он себя по бокам, — вот тебе и нечего убирать.

За два-три дома от меблированных комнат поперек тротуара лежала женщина.

— Прямо напротив Чуприковского дома развалилась какая то стерва, а Степан, видать, спит-посыпает. Ну, стойка, приятель, я тебя обужу по-своему, с сюрпризом поздравлю. На чаек, дескать, с вашей милости, — и Аким с веселым злорадством зашагал к Чуприковскому дому и вдруг остановился, как вкопанный. Почти против самых ворот поперек тротуара, свесив головку на дорогу, лежала юная девушка. Маленькая шляпа еле держится на золотистых кудрях, руки вытянуты вдоль стройного тела, в широко раскрытых глазах застыл ужас. Губы полураскрыты, точно готовились закричать, а из ранки на шее стекла и расплылась под головой кровь...

— Да ведь это же барышня из ихнего дома, — пришел в себя Аким и забарабанил в ворота.

— Сте-паан!!..

Глава II

В Гнездниковском переулке

Царит над Москвой блестящая весенняя ночь. В Гнездниковском переулке сонная тишина; время от времени издалека доносится скрип трамвая, отправляющегося на отдых в парк, рев сирены увозящего запоздалого игрока автомобиля, спокойный, размеренный бой часов на башне Страстного монастыря.

Словно зачарованные исполины, дремлют многоэтажные дома, бросая на дорогу причудливые таинственные тени. Жутко поблескивают агатовой чернотой залитые лунным светом окна углового дома за палисадником, он также производит впечатление застывшего в лунном сне гиганта. Лишь с задней стороны дома, невидимое прохожему, слабо мерцает одно окно, как недремлющее око общественной безопасности. Это кабинет начальника уголовного розыска

Кноппа. Там, за столом, в глубоких креслах сидят один против другого сам начальник и его ближайший помощник Зенин. Кнопп внимательно слушает отчет последнего.

— На это понадобилось время порядочно времени, Рудольф Антонович. Никак мне не удавалось столкнуться с Прайсом, пока мне не подвернулось объявление кружка спиритуалистов-догматиков. Там Прайса знают очень хорошо, хотя его публичное выступление имело место сегодня в первый раз. У него нечеловеческая сила воли, Рудольф Антонович!

Незаметная улыбка пробежала в тени густых усов начальника полиции.

— Странные вещи видел я, Рудольф Антонович, — продолжал Зенин. — В шаре он демонстрировал картины прошлого и будущего и, судя по тому, что первые так точно воспроизводили действительность...

— Что же он показал вам, Зенин? — перебил Кнопп. — Ведь вы не могли не поинтересоваться своим будущим в изображении г. Прайса?

Зенин не уловил малозаметной, правда, иронии в тоне начальника и ударения на последних словах.

— Только отрывистые картины, но какие! Я видел мертвую дочь Ромова, и другие видели ее и узнали. Потом я видел еще хорошо одетого мертвого человека в каком-то странном, обитом материей ящике. Еще какое-то злобное, ехидно улыбающееся монгольское лицо. Сам Прайс видел больше. Он был страшно взволнован; он стоял сзади меня, чуть наклонившись, и я чувствовал, как дрожали его руки, и на меня веяло холодом смерти. Сеанс оборвался мгновенно!

Начальник полиции покачал головой, не то одобрительно, не то в знак сомнения, вынул из ящика кипу бумаг и, опершись на скрещенные на столе руки, заговорил:

— А я, Зенин, получил самую исчерпывающую биографию Прайса от начальника уголовного розыска в Будапеште. Ответ на мой личный запрос. Прайс — родственник богатой венгерской магнатки Бадени, являющейся последним отпрыском славного некогда в истории рода графов

Бадени. Она богата и всю жизнь проводит в путешествиях. И Бадени и Прайс посвятили себя изучению оккультных наук, благодаря чему они не пользуются любовью народа у себя в Венгрии. Суеверные дети пушты считают обоих чуть не вампирами или оборотнями. Но уголовная полиция в Будапеште дает самые лучшие отзывы. Самые лучине! — повторил он, повышая голос.

— «Vox populi — vox Dei», — после минутной паузы возразил Зенин вполголоса. — Народ их считает вампирами, а вампиры сосут кровь. Вам приходилось читать о вампирах, начальник?

Сухой сдержанной иронией прозвучал смех Кноппа.

— Конечно, мой дорогой, я прочел всего «Графа Дракулу» и нечто подобное у Алексея Толстого. Увлекательно и пощипывает нервы. Конечно, вампиризм и оборотничество только народные суеверия и даже не всех народов!

— Но науки говорят о других возможностях, которые могут быть применимы в отношении Прайса. Например, применявшийся широко в средних веках способ умерщвления на расстоянии, так называемое энвольтование. А опыты доктора Ланселена над выделением астрального двойника в конце прошлого столетия? Не требуется ничего сверхъестественного, только воля, могучая воля. Заряженный такою волей двойник астральный исполнит любые действия, на которые направит его воля двойника материального!

Кнопп с напряженным вниманием посмотрел на подчиненного, повел бровями и, положив голову на ладонь, продолжал слушать рассуждения Зенина.

— Вы приобрели, я вижу, богатую эрудицию в этом направлении, Зенин, — сказал Кнопп, когда тот закончил, — и это делает вам честь. Нужно хорошо изучить территорию, на которой предстоит дать сражение, и характер врага; изучив то и другое, легче найти уязвимые места противника. В нашем деле — это всегда только его ошибки, дающие нам в руки неопровержимые, прямо осязаемые доказательства его вины. С этим только будет считаться судебная власть. Нельзя же, согласитесь, в обвинительный акт в доказатель-

ство вины привести соображения, основанные на фантазии творца «Графа Дракулы» или даже на опытах выделения астрального двойника. Вот подняли бы на смех нас наши передовые господа адвокаты!.. А присяжные!.. Что бы сказали наши консервативные и даже прогрессивные господа присяжные! Инквизиция! Времена Торквемады! Черная магия! Нет, Зенин, эти ясновидения, спиритизм, экстериоризации, астралы должны служить вам средством к совершенному познанию характера и личности Прайса: путем, на котором вы должны выискать нечто материальное, — доказательства, что Прайс употребляет во зло, с преступными целями свои познания!

— Я считался со всеми указанными вами трудностями и так именно и понимал свою задачу, Рудольф Антонович!

— Но не имели понятия еще об одном весьма серьезном затруднении. Графиня Бадени хорошо известна в высших сферах Петербурга; Прайс также. Помните, это не подозрительный уже по самой профессии своей медиум-профессинал, но человек с видным общественным положением, независимый в средствах. Если он выступает в кружках и частных домах, то из побуждений высшего порядка; своего рода апостол оккультизма. И привлечь его к ответственности можно, только имея в руках достаточное количество неотразимых улик. Без этого — ни-ни! Не правда ли?

Тревожной трелью ответил телефонный звонок на столе. Кнопп взял трубку, отозвался, слушал долго, не прерывая, только лицо его темнело, покрывался все новыми морщинами лоб, ниже и ниже спускались брови и чуть дрожала державшая трубку рука; он окончил разговор, наконец. Рассчитанно медленно, симулируя спокойствие, положил трубку на место и, стараясь овладеть голосом, сказал:

— Звонит участковый следователь Красев. В Лесном переулке, недалеко от меблированных комнат «Бояр», обнаружен труп молодой девушки лет 16-17. На шее у нее ранка, из которой как будто высасывали кровь. Ее узнали. Это ученица одной из гимназий, некая Карташова; живет в Лесном же переулке; по-видимому, возвращалась поздно ночью одна!

Зенин яростно сжал кулаки.

— И, конечно, как раз в то время, когда Прайс возвращался с сеанса. Ведь квартира «Общества спиритуалистов-догматиков» всего в двух шагах. Не была ли эта Карташова на сеансе, я заметил там изрядное количество юнцов? Опять это туманное «alibi» Прайса, к которому, однако, нельзя придаться. Следов никаких!

— Ничего в действительности и не обнаружили. Дело пока в руках Семенова, но передается вам, как равно и Красев передает следствие Зорину по аналогии с убийствами в Борках в прошлом году. Едем, однако, может быть, нам удастся что-нибудь обнаружить на месте!

— Сомневаюсь, — хотел возразить Зенин, но не высказал своей мысли, только покачал головой.

Оба вышли. В раннем рассвете хмуро смотрели своими завешенными окнами дома. Спокойным сном спала Москва, не подозревая кровавой драмы, разыгравшейся чуть ли не у подножия одной из ее святынь.

Глава III

Жемчужное ожерелье

На Сивцевом Вражке, за решетчатым забором, окруженный аллеями высоких тополей, стоит большой деревянный дом. Против парадного подъезда, посреди усыпанной крупным песком площадки, высоко бьет фонтан. К левому крылу дома прилегает зимний сад. Все построено солидно, прочно, и в то же время барски-свободно. Здесь не выгадывался каждый вершок, дом не строился для сдачи жильцам. Это — дом дворян Лярских, переходивший из поколения в поколение.

Прекрасная обстановка больших высоких комнат, несмотря на первые числа мая, сохраняет еще зимний вид. Картины и мебель без покрывал; на столах изящные альбомы, в угловой гостиной перед большим дедовским креслом

стоит корзиночка с начатой работой; в большом зале за белыми колоннами открытый рояль с небрежно разбросанными на нем нотами.

Через неделю свадьба Зои, единственной дочери Ларисы Николаевны Лярской; сегодня же готовятся к приему матери жениха.

Дверь в зимний сад широко открыта; стол убран цветами; на нем мягко поблескивает старинное серебро и так соблазнительно пахнут редкие в это время года ягоды. Лярская озабоченно осматривает стол. Не хочется ей принять будущую родню хуже, чем она сама была принята у них. Простая, добродушная Мавра Никитишна смотрит на все глазами своего Сережи, а это сегодня у Лярской слабое место: Зоя капризничает. Хоть и влюблен в нее без ума молодой жених, но все же он может оказаться способным разглядеть характер красавицы-невесты; а характер у нее бывает иногда тяжеловат даже для избаловавшей ее матери. Как на грех, именно сегодня выдался такой роковой день. Сейчас Зоя нервно качается в качалке, насмешливо поглядывая на хлопоты матери, — а с ее уст так и сыплются саркастические замечания.

Мать молчит; в эти дни может возражать ей только старая-старая няня, вырастившая когда-то саму Лярскую, ее сестер и братьев, а потом и ее дочь — Зою. Последняя зовет няню шестнадцатым столетием, безгранично любит ее и ее воркотню называет «отголосками минувших времен».

— Что же ты притихла, мама? Обдумываешь, чем бы еще удивить Потехину? О, поверь, на нее больше всего произведут впечатление суровые лица на портретах наших предков и особенно моей чопорной бабки, которая, вероятно, перевернулась в гробу от ужаса, что ее внучка выходит замуж за сына миллионера-купца. Бери лучше пример с няни. Смотри, как равнодушно бродит по комнатам старушка. Она считает, что само право породниться с Лярскими уже высочайшая честь для всякого; а ты хлопочешь, мучаешься!

Вошедшая при последних словах няня поглядела на свою капризницу, на ее притихшую мать и вдруг добродушно

засмеялась дребезжащим старческим смехом. Обе они были для нее все еще малыми детками, которые за что-то поспорились.

— Ну ты, озорница, глядеть маленькая, а старших норовишь обидеть. Вот я тебя, постой!.. Что сентябрем-то глядишь? Не бойся, не испугаешь. Покойный твой дедушка на что нравный был, а и то никогда меня пальцем не тронул!

Оперлась няня на палку и улетела мыслями в свое далекое прошлое... Рельефно выделялась на бархатной обивке качалки золотистая головка и изящная, окутанная в белую воздушную ткань, фигурка Зои. Огромные синие глаза, только что метавшие искры раздражения, смягчились, глядя на задумавшуюся древнюю старушку; вдруг она вскочила с качалки, взяла со стола тарелку, наложила на нее самых вкусных вещей и, обнявши одной рукой согбенный стан няни, нежно повела к уютному столику под развесистой пальмой.

— Смотри, какая вкусная клубника, — положила она сочную ягоду в беззубый рот, — займись едой, дорогое 16 столетие, и не грози розгой своей Зое; ведь я уже большая, хотя ты по обычаю и изрекла истину, говоря, что я норовлю обидеть всякого!

— Знаешь, — обратилась она вызывающе к матери, — сегодня я должна как следует проучить Сергея. Никакое образование не может смыть с них этой особенной купеческой складки. Не бывает дня, чтобы он не явился с каким-либо ценным подношением. Я не актриса и не продажная женщина, которую можно прельстить ценными подарками! Сегодня, чтобы проучить его, я навешаю на себя сразу все его подарки и в таком виде встречу его матушку!

— Зоя! — скорбно воскликнула Лярская.

В передней раздался звонок, и через минуту в столовую входил с букетом роз сияющий жених; лакей нес за ним большой сверток. Губки Зои сложились в улыбку, предвещавшую мало добра. Бедная мать замерла.

Сергей Ипполитович, положив букет на стол, сорвал обертку с ноши лакея. Блестя прекрасными старинными позументами и пуговицами из цветных камней, раскинул

ся на стуле костюм мамушки 16-го столетия, а рядом лежали кика и душегрейка.

— Моя несравнимая Зоя не нуждается в украшениях, — сказал он, подходя к невесте и протягивая цветы, — а ее старушка-няня, в день нашей свадьбы, должна быть одета в стиле ее комнаты, отделка которой закончена, и завтра прошу приехать на нее взглянуть!

Глазки Зои заблестели, и, закинув ручки на шею жениха, она звонко поцеловала его в губы.

— О, мой Сережа! Лучшего подарка для меня ты не мог придумать, — затормошила она жениха.

— Стой, стой, Зоя! Я еще не поздоровался с мамой!

— До матерей ли вам, — раздался добродушный возглас неслышно вошедшей Мавры Никитишны. — Сережа волен дарить тебе одни только розы, и пусть они устилают твой жизненный путь, но от нас, стариков, прими для свадебного дня это жемчужное ожерелье!

С этими словами она открыла изящный футляр, где на белом атласе живым теплом переливалась большая нитка крупных, одна к одной подобранных жемчужин.

— Это ожерелье Марии Вечеры¹. Почему-то оно прошло уже через несколько рук, но я хочу думать, что ты удержишь его надолго!

— О, я не расстанусь ни за что с этой прелестью и заберу ее с собой даже в могилу! — беззаботным звонким голосом восторженно воскликнула счастливая невеста.

Лярская вздрогнула, и в голове ее понесся рой бессвязных мыслей...

...Ожерелье Марии Вечеры!.. Я положительно где-то читала, что оно приносит с собою несчастье... Впрочем... нет... Это об ожерелье Марии-Антуанетты... Но все же... почему и это переходит из рук в руки?.. Ах... и на самом деле... эти купцы... вечная погоня за самым дорогим и так или иначе

¹ Мария фон Вечера (1871-1889) — австрийская дворянка, любовница австрийского кронпринца Рудольфа; покончила самоубийством либо была убита вместе с последним в охотничьем замке Майербург (*Прим. изд.*).

сенсационным... И Зоя, едва взяла его в руки, почему-то вдруг заговорила о смерти... Но что это я? Нельзя поддаваться дурным мыслям и накликать несчастье, а еще стыднее быть суеверной...

Усилие воли, и гостям улыбалась всегда спокойно любезная светская дама.

Глава IV

Свадьба

Ярко залита огнями большая дача купца Потехина; иллюминирован сад и окружающий дачу парк; приготовлен ошеломляющий фейерверк. При въезде, на арке из белых роз, инициалы молодых.

На дороге, у поворота в Борки, стоит помощник пиротехника с сигнальной ракетой в руках. Взойдется она, и ярко загорятся инициалы арки, и разноцветные огни далеко осветят прилегающий бор.

Сегодня в семье Потехиных великий день. Женится единственный сын, наследник многомиллионного состояния, которое сумел нажить старик-отец, пришедший в Москву с пустым карманом... Говорят... Мало ли что говорят!

Сегодня, — вот-вот загорятся огни, грянет оркестр, закружатся в танце разодетые дамы и в первой паре юная и прекрасная молодая.

На террасе, на особом столике, приготовлены хлеб-соль и икона. С ними отец и мать встретят новобрачных.

В ожидании мать еще раз обошла комнаты. Остановилась на пороге будуара и прилегающей спальни молодых и невольно залюбовалась.

Декоратор превзошел самого себя.

Все было воздушно-бело; всюду шелк, кружева, ленты.

Сегодня войдет сюда ангелоподобная Зоя.

Хорошая, желанная для нее невестка, но очень уже она хрупка. Так и кажется, что не жилица она на свете, и эти

кружева, газ, белые ленты...

— Что это я, что это я?! — закрестилась Мавра Никитишна. — Пошли Бог долгое счастье Сереже, а я... Вот только сам жаден очень на деньги: не оторвешь его от дел, — все ему мало... А то бы уехать нам, старикам, к себе... в тайгу... в Сибирь...

Да и Сережу с Зоей отправить бы на годик куда-нибудь за море; пусть бы они свое молодое счастье подальше от завистливых глаз людских прятали, а то и от...

Да что это со мной сегодня?! Надо радоваться, а я от дум не отрешусь, и сердце нет-нет да и защемит...

...Говорят, материнское сердце — вещун... Пустое... просто оно у меня ревнивое.

Сегодня Сережа от дома родительского отходит, — свое гнездо вьет, вот я и тоскую... Мать всегда мать. И счастья сыну хочет и себя чувствует одиноко...

...Вот, Бог даст, появится внучата, и опять моя жизнь будет полна...

Всячески подбадривает себя Мавра Никитишна. Залился звонок телефона.

Венчание кончилось, скорее нужно вниз.

А там, по улицам Москвы, длинной лентой вьется свадебный поезд.

Впереди, на некотором расстоянии от ряда автомобилей, в белой карете, запряженной парой белых, как снег, рысаков, с белым кучером на козлах — молодые.

Любит Зоя своих белых лошадок и только на них хотела ехать к венцу.

Сейчас Борки... Уже чувствуется запах сосен. Крепко обнял Сергей Ипполитович свою молодую жену и нежно шепчет:

— Сейчас моя Зоя войдет хозяйкой в мой дом и начнется безмерное счастье на долгие-долгие годы...

С треском взвилась ракета; разноцветными огнями залился лес; ярко вспыхнули инициалы молодых, благоухание белых роз арки, казалось, усилилось.

Спешат к подъезду с иконою и хлебом-солью отец и мать.

Вдруг... страшный, оглушительный грохот потряс воздух, точно выстрелом из чудовищной пушки. Задрезжали, посыпались стекла в соседних дачах. Выпала икона из рук старика... Воздушная арка погребла под собой замертво упавшую мать.

— Суд Божий!.. — не то подумал, не то прошептал Ипполит Потехин.

Глава V

На месте катастрофы

Не погасли огни на даче Потехина.

По-прежнему благоухают цветы на богато сервированном столе, но странный вид имеет эта сервировка.

Все более легкие предметы если не снесены, то опрокинуты на столе. По серебру рассыпаны осколки хрусталя.

Окна зияют пустыми рамами, со стен повисли декоративные гирлянды.

В доме ни души. Где же хозяева? Где прислуга? Куда девался их суетливый рой?.. В доме нет никого!

Все бросились навстречу молодым или, вернее, тому, что было ими.

Впереди всех старик-отец. Идет быстро, почти бежит. Путем не ошибается: дорога ярко, празднично освещена...

Гомон, шум толпы, окрики городских: «Подайся, осадил!».

Вдруг, как один человек, толпа раздвинулась, притихла. Перед отцом расступились.

Эх, лучше бы еще плотней сомкнулись!

Среди широкой, усыпанной гравием дороги Майского проспекта зияет громадная воронка.

Исковерканный передок кареты, ставший из белого красным, и остатки лошадей. Именно остатки.

От одной валяется только голова да какая-то кровавая масса. Другая...

Боже, да ведь это из ее странно-оскаленной пасти несутся эти дикие звуки.

Это она не то ржет, не то плачет, не то стоном кричит... Передние ноги судорожно бьются; задние неподвижны.

Вывалившиеся внутренности трепещут, дымятся.

Выстрел прорезал воздух; благодетельный выстрел пристава, прекративший мучения лошади.

В воздухе повисла жуткая тишина. Ее нарушило глухое рыдание склонившегося над роковой воронкой старика, которому вдруг заворчал смех.

Да, это смех: звонкий, веселый, беззаботный.

Расталкивая толпу, небрежно волоча по камням и пыли трен дорогого шелкового платья, с букетом в руках и любезной улыбкой на лице подошла к Потехину красивая молодая дама.

— Вот вам цветы, как знак внимания и любви от вашей новой дочери Зои. Прошу Вас быть ласковым и добрым к ней, а ваш Сережа мне уже бесконечно дорог и мил. Не правда ли, как обворожительно хороша сегодня Зоя... Как весела, мила и любезна! Что же вы молчите? Или считаете меня пристрастной матерью? Какой вы странный! Пойдемте вместе занимать гостей!

Вокруг раздался тревожный шепот: кто это?.. Что с ней?

Дама обернулась. Чуть прищурившись, взгляделась в ближайшие лица и сердечно, радостно улыбнулась.

— А, подруги Зои! Ну, конечно! Простите, я близорука и не сразу узнала вас, Софи, и вас, Надин! Хотите цветов из подвенечного букета? Какая я рассеянная! В суете совсем забыла, что Зоя просила передать их вам.

Поспешно отделила часть своего букета и протянула цветы прижавшимся пугливо друг к другу девочкам-подросткам; одна из них, недоумевая, приняла цветы...

Дама уже далеко...

Трен платья выпачкан в крови. Нагнулась, говорит с конем... ласкает...

— Снежок, вставай! Не спи на свадьбе Зои! Послушай! Она освободится от гостей и обязательно придет кормить вас сахаром. Тебя и Беяка.

Поднялась... Звонко и весело смеется, разбрасывая цветы направо и налево. К ней торопливо приближается живущий здесь же в Борках известный врач Сергей Сергеевич Карпов.

— А, дорогой доктор, — узнала его Лярская. — Как бесконечно рада видеть вас на свадьбе Зои, я не забыла, что в детстве вы спасли ее своими знаниями и искусством и буквально вырвали из когтей смерти. Ах, как сегодня душно... страшно!

Лярская провела рукой по лбу и с недоумением оглянулась.

— Как много красного! Зоя не любит этого цвета и свадебный пир... Кто это плачет? Почему? И эта яма? Для кого? Ах, да... «Вырыта заступом яма глубокая...» Конечно... Это так затрепано... Не плачьте же... Кто это? Боже, да это Зоя... Няня... няня!

— Голубушка, барыня! Ларинька моя разнесчастная, опомнись! Что ты!

К Лярской бросилась странно одетая старушка. На ее темном старинном сарафане тускло поблескивал дорогой позумент, из-под шитой золотом кики выбилась прядь седых волос; от нервной дрожи головы тихо побрякивал низанный жемчуг повязки. Из выцветших глаз старушки катились крупные слезы; они то застревали в глубоких морщинах лица, то падали в искривленный горькой гримасой беззубый рот.

В глазах Лярской мелькнуло выражение нежности.

— Нянюся, — обняла она старушку, — скорее одевай свою баловницу, и идем в лес собирать землянику. Смотри, от нее даже красно в бору!

Наклонилась, провела рукой по забрызганной кровью траве. Красные, еще теплые капли повисли на пальцах. Дикий ужас исказил лицо Лярской, и по лесу пронесся нечеловеческий вопль. Карпов торопливо схватил ее руки и заглянул в лицо.

— Тише, — властно прозвучал его голос. — Идите за мной, я проведу вас к вашей дочери. Она ждет вас, и мы должны

торопиться, чтобы не причинить ей беспокойства опозданием к венчанию!

Больная послушно пошла с доктором, перед ними торопливо расступалась толпа. Услужливо поданный автомобиль умчал обратно в Москву несчастную мать новобрачной.

А где же другая мать?

Она осталась у входа в празднично освещенную дачу, одинокая, всеми забытая, под холмом благоухающих роз.

* * *

Потухли огни.

Восток побелел. На горизонте чуть наметилась светлая полоска, покраснели края; шире и шире расползается она по небу...

Сквозь пурпур пробивается золотистый цвет

Вывался и протянулся по небу золотой луч... другой... третий, рассыпался яркий сноп искр, и показалось лучезарное солнце. Бросило свои ласкающие лучи на величавые сосны; оживило, окрасило цветники, разбудило пташек, блеснуло серебром по росе на лужайках.

Оживился бор гомоном птиц, которые веселым щебетанием и звонкой трелью радостно встречают восход солнца.

Цветы высоко подняли свои головки и, качаясь под легким дуновением ветерка, точно кланяются восходящему светилу.

Ласкает глаз и омытая росой травка, и скромные незабудки, купающиеся в животворящих солнечных лучах. Спрятался в тень белоснежный ландыш, но и он шлет солнцу свое свежее благоухание.

Вся природа улыбается новому дню. Зажужжали, хлопотали проснувшиеся пчелы, звенят стрекозы, весело порхают бабочки.

В вышине заливаются песней жаворонки; чертят воздух ласточки. Небывалую картину представляет собой Майский проспект...

Не залетает туда ни птица, ни даже бабочка... Там люди!

Переговариваются полупшепотом в отдаленных рядах; ближайšie — молчат и как-то жмутся друг к другу.

Среди дороги остатки кареты и лошадей. На краю страшной воронки сидит сжавшийся, как-то разом осунувшийся Потехин.

Толпа так и не расходилась с вечера. Ждали рассвета; весенняя ночь коротка. Переговаривались, обсуждали происшествие.

— Не иначе, как это он, пакостник, больше некому, — шепчет в толпе какая то бабенка.

— О ком ты? — оживляются настороженные соседи.

— Да об черном барине, об ком же? Слышь, он опять в наших лесах появился, ребяенок пугает и молодайку Печникову чуть было не сцапал!

— Мамонька родимая, — почти до земли присела растрепанная старушонка. — Уж не он ли, окаянный, мою корову испортил? Зачнешь доить, а у ней из титек вместо молока кровь!

— Ой, да и у меня овца пропала и поросенок сдох. А мы с бабушкой свекровью гадаем, с чего бы это он.

— Тише вы! Раскаркались, вороны, — зыкнул степенный мужик. — Тут, можно сказать, жистей сколько решилось, миллионщика такого в час время к земле пригнуло, а они — корову испортили, поросенок сдох! Тьфу, дуры!

— Дуры и есть. Бабы — они уж всегда бабы, волос долог, ум короткий, — поддакнул ему другой мужичок. — А вот что барина этого черного нам укоротить следовало — это верно!

— А что он сделал? — добродушно спросил толкавшийся среди любопытных старший агент уголовного розыска Орловский.

Оба мужичка окинули подозрительным взглядом его городской костюм и молча отвернулись. Молчат и бабен-

ки. Только старушонка с больной коровой небрежно бросила:

— А ты не замай! Мы, бабы, об своих бабьих делах говорим!

Орловский не настаивал. Он знал, что когда русский мужик настожится, из него слова клещами не вытянешь, и медленно стал пробираться дальше.

В группе мастеровых тоже шепот:

— Нашел-таки Господь, и миллионами не загородишься, — злобно бурчит один из них.

— А что, дяденька, тебя, что ль, он донял? Чего злобствуешь? — лихо сдвинув на затылок шапку, не то с укоризной, не то с иронией спросил молодой парень.

— Меня, не меня, а около меня. Мы маляры, и я в соседнем с его доме карниз подправлял, когда в его конторе насмерть бабенку избивали; не без его это, чать, ведома. Сколько годов прошло, а я как сейчас вижу, — швейцар-то ее в морду, да под сердце, да головой об дверь; дубовая дверь распахнулась, а она грудью об камень, аж кровь из глотки хлынула. А тут городовик подскочил да в спину, в спину. Не приведи Бог!

— Дзык, — сплюнул через зубы третий.

— Поделом тогда ему, старому черту. Отливаются, значить, волку овечьи слезы!

Орловский, вытянув манжету, сделал отметку: искать в прошлом историю отношений Потехина с оскорбленной избитой бабенкой, — затем тихо двинулся к месту катастрофы.

.

Внутри дачи Потехиных производится расследование.

Все старые, знакомые лица. Холодно-спокойный следователь Зорин и озабоченный, подвижный агент уголовного розыска Зенин. Последний, уже успев потолкаться среди праздно публики и поразнюхать, привел к Зорину

пожилую даму, мальчугана лет 12 и служащего из магазина Зингера.

Мало они могли рассказать, но все же бросили искру света на это жуткое дело. Они, как и многие другие, сидели на одной из боковых скамеек и ждали проезда свадебного поезда. К ним подошел и сел на край скамейки какой-то человек в темном пальто и широкополой шляпе, низко надвинутой на глаза. В руках у него был сверток, напоминающий коробку, обернутую бумагой; на сверток не обратили особого внимания. Когда взвилась ракета, человек этот встал и, не торопясь, пошел навстречу приближающимся молодым. Уже ясно слышался топот копыт, карета вот-вот должна была проехать. Человек в темном пальто вдруг выпрямился, напрягся весь и кошачьим прыжком бросился к показавшейся карете. Черно-желтой воронкой завился из-под нее дым; оглушительный грохот, звон стекла, камни, железо, клочки одежды и дождь из разорванных мышц, пальцев, клочков мяса, брызг крови...

* * *

Ночью не выяснили точного количества жертв и даже не искали останков. Теперь уже известно, что убитых трое, тяжело раненых — нет; много с легкими поранениями.

Больше всех пострадал шофер ближайшего за каретой новобрачных автомобиля. Выбитым толстым передним стеклом у него сильно изранено лицо и контужена вся голова. Пассажиры тоже пострадали; стекло в автомобиле не осталось; даже рамы погнулись. Ближайшие из зрителей попадали на землю, и некоторых ранило обломками кареты либо забрызгало кровью. У кучера разнесло череп и оторвало правую руку, а обезображенное туловище было отброшено на аллею, параллельную проспекту.

Ни тела убийцы, ни Сергея Потехина не нашли, а недалеко от роковой воронки лежит на разостланном платке поразительной красоты женская головка, увенчанная мир-

товым венком и обрывками кружевной вуали с запутавшимся в нем жемчужным ожерельем.

На прекрасном лице — ни царапинки.

Глава VI

Догадки и слухи

Борки шумят, как пчелиный улей... Волжина является здесь самой трудолюбивой пчелкой.

С утра до вечера и с вечера до утра собирает и разносит всевозможные слухи. Самым любимым ее домом стал дом Карповых.

Сергей Сергеевич так часто навещает Лярскую, помещенную в психиатрическую лечебницу его друга, а Зинаида Николаевна со времени своего знаменитого, столь на шумевшего в свое время спиритического сеанса попала в круг высшего аристократического общества.

Волжина ей завидует. Спит и видит, как бы получить приглашение хоть в один из этих заветных домов.

И какая, собственно, несправедливость! Ведь все эти княгини и графини обязаны интересом сеанса исключительно ей: ведь это она пригласила Прайса.

Сегодня она влетела к Зинаиде Николаевне Карповой с ошеломляющей новостью:

— Знаете, душечка, дачу Ромовых ремонтируют!

— Что вы? Кто же это решается жить на даче с привидениями? Ведь мимо нее ночью ходить боялись.

— Пока еще точно ничего неизвестно. Рабочие знают только подрядчика, а этот последний получает деньги и распоряжения от управляющего-немца!

— Я положительно заинтересована, Марья Петровна, и очень прошу сообщить мне подробности, как только вы их узнаете!

— Можете ли вы в этом сомневаться? А что говорит Сергей Сергеевич о Лярской?

— Пока мало утешительного: никого не узнает и по-прежнему воображает себя на свадьбе дочери!

— Какое ужасное, неслыханное преступление! У старика Потехина не было, кажется, врагов, а убитый Сергей был добрый и отзывчивый юноша. Что же касается Зои Лярской, то ее юная жизнь была у всех на виду! Огнь-Догановская, чей автомобиль ехал первым за каретой новобрачных, страшно потрясена и никого не принимает, хотя сама едва лишь поцарапана осколками стекла, а ехавшая с нею Лярская осталась совсем невредимой!

— Что вы говорите, Марья Петровна! На мой взгляд, она-то и пострадала больше всех.

— Трудно сказать, желательно ли, чтобы она пришла в себя. Зоя ведь была у нее единственное боготворимое дитя!

— Потехин, по слухам, ликвидирует дела и покидает Москву!

— Понятно, кто остался бы на его месте?

— Да и для кого теперь копить? Сергей ведь тоже был единственным детищем!

— Вот и еще две покинутые дачи!

— Плевины-то, быть может, и приедут на будущий год, а вот у Потехиных, по слухам, неблагополучно. Там, на половине новобрачных, говорят, появляется не то голова Зои, не то еще что-то... Брр... страшно. Ну, прощайте, дорогая, бегу узнать новости о даче Ромовых.

* * *

Кабинет Кноппа. Прежняя обстановка, прежнее гнетущее молчание, изредка прерываемое краткими фразами двух преследуемых неудачей людей, и темы разговора прежние.

— Доверьте мне эти дела, Рудольф Антонович, дайте в помощь Орловского. Мы умрем, но доищемся истины!

— Трудно, когда убийца взлетел на воздух вместе с жертвами. Анархисты, наверно.

Зенин помялся.

— Не знаю, Рудольф Антонович; какое-то чувство говорить мне, что убийство Потехина имеет связь с делами в Лесном, с прошлогодним убийством Ромова. Рассудок противится этому, я сознаю, не знаю... Но такая уверенность, что в чем-то между теми и этим делами есть соприкосновение.

— Что же, предчувствия иногда не обманывают. Ну, а узнали вы что-нибудь?

— Только всякие догадки, слухи, больше ничего. Надо будет еще копнуть в прошлом Потехина.

— А что шофер?

— Не пришел еще в сознание. По-прежнему бредит каким-то человеком-птицей, отмахивается от него; видит огонь и летящие куски тела!

— Новых останков тел не найдено?

— Нет. Все, что собрали, Потехин похоронил в своем склепе в общем гробу, не разбирая: сына, кучера, убийцу. Только головку Зои, часть ее ножки в белой атласной туфельке да кусок венчального убора, отнесенный почти к самой их даче, похоронил отдельно, рядом с своим склепом. Над нею строит часовню. Озлобленности против убийц нет, вклады по церквам делает. Затих человек!

— Затихнешь, Зенин, так трагически потерявши сына! Замолкли на минуту.

— Ну, а в Лесном? — робко любопытствовал Кноп, ожидая вперед неблагоприятного ответа.

Зенин жалко усмехнулся.

— Все то же. Прайс был на том сеансе и в часы убийства возвращался домой. Подозрительно, но не придерешься!

Кноп с нервной порывистостью встал:

— Как нет, то нет. Ну, берите Орловского. Ищите. В добрый час!

Глава VII

На стройке

Дача полковника Ромова неузнаваема. Вся она закрыта сетью лесов и большим количеством заготовленного строительного материала.

Не один десяток рук занят здесь спешной работой над обновлением и ремонтом построек и над расширением сада за счет векового парка. Работу взял на себя подрядчик Иван Ефимович Тихонов и довел бы ее до скорого конца, если бы не мешал главный доверенный графини Бадени, купившей эту усадьбу после столь трагической смерти семьи полковника.

Доверенный этот, немец Карл Карлович Фогт, буквально бельмом на глазу сидел с утра до вечера во временной конторе и, совершенно не понимая души русского народа, тормозил работу, придираясь к пустякам и за всякую мелочь нещадно штрафуя рабочих!

Уж и не рад был опытный и знающий людей Иван Ефимович, что, соблазнившись крупным заработком, взялся за эту срочную работу, да еще поставил сюда лучшую свою артель — владимирцев.

Того и гляди взбеленятся ребята окончательно, заберут свои топоры, пилы и лопаты, да в лучшем случае уйдут с работы к другому подрядчику.

— А теперь как раз самая стройка и люди нарасхват. Один Тит Синявин, чтобы только мне свинью подложить, к себе их за милую душу возьмет, да еще даст дороже против моего. — Эх, — почесал он затылок, — черт меня дернул пойти под начало к этой немецкой колбасе, да еще с ребятами на пайки пойти, чтобы скорее куш сорвать!

— Дз-дз-дз, — задребезжал, прерывая его размышления, электрический звонок.

— Ну, подумай о черте, сразу хвост увидишь. Иду, колбаса ты заграничная. Зазвонил с самого утра, теперь пойдет дергать: то не так, это не этак.

— Доброго утречка, Карл Карлович, — добродушно поздоровался он через минуту с ненавистным немцем.

— Morgen, — милостиво бросил толстый, румяный немец. — Ну, что наши молодец? Начиналь очистить парк от спилень дров?

— Скоро будет готово, Карл Карлович. Очистят дерево от коры, тогда и перетаскаю сюда к постройке. Деревя-то дюже велики, ну, да у меня и молодцы на подбор. Вот только жаль, Митька запил. Золотой парень, когда трезвый, а запьет!.. Что поделаешь; тогда ему сам черт не брат — не подступайся.

— Мне надоедаль ваш Митька. В благоустроенном государстве рабочий не ораль так на весь дачный мест и не ругаль так, что даже невозможен понять, ни виговаривал!

— Ругается-то он, и вправду надо сказать, хлётко, — почесал затылок Иван Ефимович, — только для нашего брата это привычно; иначе за то сработает за пятерых, да и работает хорошо, чисто, хоть куда!

— Ну, а я требоваль: работаль и не ругаль. Bitte, Herr Tichannoff!

— Бить то оно хорошо бы, ну да теперь не те времена. Да и опять же без ругани русский мужик и с места не сой-дет, а без матерщины тяжелого и не подымет!

Раздумчиво чесал затылок, выходя из конторы, сам вчерашний ярославский мужик Иван Ефимович.

Его и рабочие особенно любили за то, что он не зазнавался перед ними и не корчил из себя полубарина.

«Душа-мужик» называли они его.

— Ребята, — подошел он к ним, — немец что-то спозаранку про ругань заговорил: так вы уж того, попридержитесь маленько!

— Мы, значит, всей душой, Иван Ефимович, да только ненароком оно и вырвется. Ну, да Митьки нет, — без главного, значит, запевалы остались, — все будет по- благородному. Ублаготворим, значит, его немецкую милость, а ты выхлопчи для нас лишнюю чарочку в обед!

— Ладно, устрою! А вы уж, ребята, попридержитесь! Ну, как там бабы? Все ли собрались?

— Да и у баб будет потишей; Матрену-то Митька с собой увел!

— Э-х, кабы они не напились до чертиков, да беды не наделали. Парочка-то аховая!

— Да уж под масть, что и говорить!

— Куда прешь, чертова кукла! Вот я тебе загну хвост, ла дам хворостиной по ж..., — раздалось под самым окном конторы.

— Эй, эй, легче на повороте, — прикрикнул подрядчик на степенного Демьяна. — Тебе-то уж и не пристало сквернословить!

— Да нешь я сквернословлю, Иван Ефимович? Она мне, стерва, всю клумбу своротила, хоть сызнава копай. Весь как есть щебенъ, на, гляди пожалуй, эвона куда выворотила!

— А ты заткни глотку, Демьян. Я те не твоя баба — не подвластная. Видал чать, что споткнулась!

— А ты под ноги гляди, вертихвостка! Нагнали вас тут с бору да с сосенки, шлюхи!

— Да как ты смеешь ругаться, — подбоченилась баба. — Я вот те харкну в рыло!

— Я те харкну! В порошок, сукина дочь, сотру, — погрозил Демьян кулаком.

— Ловко!.. ...твою мать... — сплюнул от умиления висевший в воздухе маляр.

— Donnerwetter! — поднял руки выскочивший на крыльцо Карл Карлович.

— Herr Tichanoff, — неистово закричал он, — посиляль кто ругайт работаль в парк, я не может слюшаль!

— Они уймутся, Карл Карлович. Демьян слабосилен в парк, а на земляные работы — огонь! Слышь ты, уймись. А ты, Манька, ступай на свое место, — прикрикнул он, оставившая готовую разразиться перебранку.

«Что ж ты, стерва, глаза лупишь,
А полштофчик мне не купишь?
Конфетка, моя леденистая,
Полюбила одного трубочиста я!»

Раздалась нескладная песня двух пьяных голосов, и на дорожку вышла в обнимку милая парочка.

Рыжий мужичонка лихо заломил на ухо выдавший вид гречневик, холщевая рубаха с кумачными ластовицами широко распахнута в ворота, пояс отсутствовал. Набойчатые штаны съехали на бедра и только чудом удерживались от окончательного падения; грязные ноги писали вензеля. Дама одета по-городскому. На ногах подобие ботинок со сбитыми на сторону каблуками и пить просящим носком. Подол грязной юбки представлял из себя бахрому. Пуговицы у яркой желтой кофточки оборвались и обнажили давно не мытые шею и грудь и грязное рваное белье. Правый глаз у нее запух и закрылся; под левым синел здоровый фонарь. Всклооченные волосы и рот, растянутый в пьяную улыбку, дополняли картину ее наружности.

— Принимайсь, Матрена, за работу, — распорядился Митька, толкая свою даму по направлению бабьей артели.

Та взялась было за грабли, но вместо работы оперлась на них и затянула:

«Распроклятую судьбу
До могилы я несу
Бедная....»

— Тишей ты! — подтолкнула ее соседка. — Видишь, немец на крыльце стоит — злой, страсть!

Рабочие в парке обвязали огромное бревно веревками, взяли за концы и, понатужившись, дружно затянули:

«Мы хозяина уважим,
Через...»

— Легче, черти, — закричал, бросаясь в ту сторону, подрядчик.

«Эй, дубинушка, ухнем,
Эй, зеленая, сама пойдет.

Подернем, подернем,
Да у-ух-нем!»

— поправились тотчас же рабочие.

Митька стянул с головы гречневик, подтянул сползавшие штаны и, стараясь удержать равновесие, поклонился немцу.

— Вот, значит, и мы в вашей милости, — пьяно ухмыльнулся парень.

— Пшоль вон, пьяни руськи свинь!

— Дак ты еще ругатца?! — напялил обратно свой гречневик Митька. — Нет, брат, шалишь! Мы, значит, честно, благородно, а он, слышь: русская свинья. Да если я русская свинья, так ты значит, немецкий боров. Ишь, надулся пузырь — шире мал-меня нету. Да хошь, я тебя в бараний рог согну? Аж пузо твое лопнет!

— Тише, Митюха, тише, — кинулся к нему Тихонов. — Ну, выпил, — дело житейское. Иди теперь с Богом, выпись, а поточ на работу пришел бы...

— Я не хотель его работ. Мой штрафоваль его пьяниц и выгнал вон!

Этого уже не могла стерпеть Митькина душа; из его уст полилась ругань такая отборная, что ни писать, ни прочитывать невозможно.

Немец визжал и метался, как зарезанный, крича что-то на родном языке.

Тихонов старался унять Митьку, который не шутя осерчал на ненавистного немца и в свою очередь кричал:

— Нет, погоди. Я те сверну салазки. Ишь распух на расейских хлебах. Много вас тут понаехало, такой-сякой материн сын... — завернул он крепкое словцо.

Но тут освирепевший немец схватил его за воротник рубахи и с такой силой поддал ему коленом, что бедный Митюха кубарем полетел за ворота и шлепнулся в песочную пыль дороги.

Разгневанный, красный, как рак, Карл Карлович вернулся в свою временную контору и попробовал охладить пивом расходившиеся нервы.

Но сегодня у него особенно незадачливый день; ни минуты не дают покою; в двух шагах от окна вдруг завывла Матрена:

«Дышала ночь в остроге слабострастья...»

И тут же старая, хриплая шарманка закашляла, захрипела вальс «Дунайские волны».

— О, mein Gott, o, mein lieber Gott! — воздел руки к небу совершенно убитый Карл Карлович. — Что за варварский стран, что за обычай, что за люди!

— Ру-ру-ру-ру! — хрипло залаял автомобиль, мягко шурша по песку аллеи.

— Вставай, дурной, — закричали рабочие на Митьку.

Тот приподнялся, сел среди дороги и упрямо-глупо уставился на медленно подъезжавший автомобиль.

При падении далеко отлетел его гречневик и растрепавшиеся волосы торчали дыбом вокруг пьяного измазанного лица; глаза сверкали не то пьяным озорством, не то озлоблением, перешедшим с немца на всех и вся.

— Ты что урчишь, черт глазастый, — выругал он дающего непрерывные сигналы с еле ползущей машины шофера, — ты думаешь, забоялся? Держи карман шире! Да я отродясь никого не боялся; с..ть я хотел на твою дурацкую машину. Съезжай в сторону, если я тебе мешаю. Меня, брат, пьяного наш барин на тройке коней объезжал, а не то, что твой дурацкий ящик. Ну-ка, попробуй, задави. Нет, брат, дудочки, наотвечаешься!

— Что случилось? — постучала в разделяющее ее от шофера стекло сидящая в автомобиле дама.

— Ничего особенного, ваше сиятельство. Какой-то пьяный мужик сидит посреди дороги и не слушается сигналов!

— О, тогда я лучше выйду. Мне бы не хотелось причинить ему вред. Вы говорите, он пьяный; значит, не понимает, что делает!

Митька неожиданно для себя и для других вдруг подпер ладонью голову и, заливаясь пьяными слезами, затанул заунывную:

«Не белы снеги во поле расстилалися».

— Боже мой, он ненормальный!

— Послушайте, кто-нибудь, — раздался громкий мелодичный голос, — позовите сюда Карла Карловича!

Ближайший рабочий бросился исполнять приказание.

Тихонов, как прикованный, стоял в десяти шагах и с удивлением глядел на невиданную красавицу.

В купе сидела дама лет тридцати двух-трех; матово-бледное лицо окружали пышные кудри золотом отливающих волос; из-под дуг бровей, полузакрытые черными ресницами, загадочно сияли огромные сапфировые очи. Изящно очерченный нос заканчивался нервными ноздрями, а ярко-алый маленький рот имел безукоризненные очертания; под легким шелковым манто угадывалось стройное сложение.

По аллее сада трусцой бежал к автомобилю потерявший всякую важность осанки, недавно столь грозный немец.

После недолгого разговора с управляющим красавица-графиня, оказавшаяся хозяйкой ремонтируемой дачи, уехала. Митька, провожавший глазами удалявшийся автомобиль, вдруг сорвался.

Казалось, что половина хмеля у него выскочила; бежит быстро и ровно прямо в контору.

— Ну, быть беде. На Митьку накатило; теперь ему сам черт не брат, — переговариваются рабочие.

— Беда, — прошептал и подрядчик.

Но так велика была общая ненависть к притеснителю-немцу, что ни один человек не двинулся к конторе.

— Пшоль вон, русский пьяниц, — грозно поднялся на встречу Митьке Карл Карлович.

— А, да ты еще не унялся, — скрипнул последний зубами, — видел, как меня красавица-барыня объехала?! А

ты. колбаса протухлая, за шиворот вздумал Митьку Хруща хватать, да об землю кидать. Это тебе с ненароку удалось! А ну-ка, сунься теперь. Ты меня при всей артели осрамил; ступай, прохвост немецкий, при ней же и прощения проси, а то я тебя, такой-сякой материн сын, — полилась отборнейшая митькина брань, — в порошок сотру!

Растерявшийся немец отступил в угол и инстинктивно загородился столом. Рука его потянулась к звонку, но в тот же миг по ней ударил Митька.

— Ты это, сукин сын, за звонок хватаешься? Знаешь ли ты, дьявол, что своим дзиньканьем у всей артели нутро вызвонил? Долго ли ты, пиявка немецкая, кровь нашу пить будешь? За каждую малость штрафами одолевать? Проси прощения, говорю!

— Пшоль вон! Ка-ра-уль, — не своим голосом завопил немец.

В ответ зарычало тоже нечеловеческое: а-а-а-а!

Грохот падения мебели, — возня, — крик, — ... и... тишина.

Через минуту на крыльце показался бледный, совершенно отрезвевший Митька.

Что за диво!? Перед домом ни души; в парке вовсю стучат топоры и несется многоголосая, разудалая песнь.

Идет туда Митька... стал...

— Братцы, я немцу бока помял... Только, кажись, жив... Отлежится... теперь твоя воля, Иван Ефимович!

Белый, как мел, Тихонов сидел на пне.

К Митьке подошел десятник.

— Айда, парень, через лес, домой. Никто ничего не видел и не слышал... В артели, сам знаешь, давно гудит, как в улье; ты за всех на себя расправу взял. Опять же пьян был, значит, в себе не волен... Моли Бога, чтобы только не помер... Иди...

Глава VIII

Полонез мертвецов

Угрюмо смотрит закрытыми ставнями дом Потехина. Внутри взято и вывезено только серебро, белье, платье, картины, чтобы не соблазнять воров; остальное не тронуто.

Таково было желание старика Потехина. Завяли обвисшие гирлянды и рассыпанные по столам и полу цветы, вызывая в наглухо закрытом помещении запах тления.

Жутко глядят лишенные стекол окна. Пробивающийся сквозь щели ставней солнечный луч, дробясь в осколках хрусталя, не оживляет общей картины разрушения, наоборот, увеличивает жуткое чувство.

Так и кажется, — зашуршит шелковое платье, застучат по паркету каблучки, повеет легким ароматом духов от развевающегося воздушного покрывала невесты, и зазвучит голосок Зои.

Шумно поднимутся навстречу ей гости, зазвенят бокалы, польются приветственные речи, поздравительные тосты...

Но все это только кажется!

Никто и ничто не нарушит мертвой тишины свадебно убранных покоев, хотя эта тишина уже отчасти нарушена.

Сквозь неплотно заколоченное окно пробралась в спальню Зои пара ласточек и в углу, за туалетом, в сборках атласа и лент свила себе гнездышко.

Не бояться они привидений...

Тепло, уютно будет их крошечным деткам. Да и не одни они в дом.

В самой глубине коридора низкая дверь; за ней светлица няни.

Стены обложены свежестроганными бревнами; мелкий переплет окон скупно пропускает свет; громадная пузатая печь с лежанкой занимает большой угол комнаты; у одной из стен кровать с горой взбитых перин и подушек.

В главном углу старинная образница с лампадой; вдоль стен широкие лавки, покрытые самоткаными коврами, на столе расшитая ширинка и под окном прялка.

Монотонно жужжит веретено; под умелой морщинистой рукой тянется ровная бесконечная нитка.

По целым дням неустанно прядет древняя старушка.

Из ее выпцветших глаз одна за другой бегут, застревая в морщинах лица, слезы; забывает вытирать их старушка, да и вытрешь ли их все?

Не чувствует их она.

Вся ее душа всегда там, у страшной воронки, на Майском проспекте.

Мысленным взором видит она обломки кареты, окровавленную дымящуюся груды лошадиных трупов, а там, значительно дальше, среди группы голубых елок, зацепившуюся за ветки подвенечной вуалью головку Зои. Сколько надрывных воспоминаний, тяжких... и не уйдешь от них никуда.

Не боится она жить здесь одна.

Наоборот, — не уйдет отсюда по доброй воле. Ближе она здесь к своей деточке... Сама комната эта создана ее последним капризом.

Вот — на стене старинный сарафан блестит позументами и камнями. Под образами на резном блюде засохшая «хлеб-соль».

— Не зазвенит больше твой голосок, пташечка ты моя сладкопевная; не потреплет больше морщинистых щек атласная рука и не закроет уж родной человек усталых глаз, когда придет время вечного отдыха.

Да полно, придет ли уж когда-нибудь мой черед отдыхать. Не забыл ли обо мне Господь Милостивый? Не потянется ли моя ненужная никому жизнь так же бесконечно длинно, как вытягиваемая из пряжи нитка?

Монотонно жужжит веретено... Капают горькие старушечьи слезы...

Обыкновенно в это время она уже ложится на покой, только сегодня ей как-то неможется или просто не по себе.

Быть может, это потому, что день выдался небывало жаркий. С самого утра солнце начало невыносимо палить, а к полудню уж и дышать было нечем.

В саду под окном не шелохнется ни листок, ни травинка. Даже пичужки замолкли, разомлели.

К вечеру открыла было окно, ан ветер поднялся. Подхватил песок, пыль, соринки, закрутил, понес, а там силы набрался и бором тряхнул.

Зашумели, заскрипели вековые сосны... Гнутся вершинами, точно друг другу кланяются.

Темно сразу стало, а свежести нет. Воздух густой, тяжелый. Быть грозе. Минута-другая зловещей тишины. Утих ветер, притаились деревья, точно собираются новый порыв встретить.

Тяжелая черная туча надвинулась, повисла над Борками. Ослепительно-яркий зигзаг — и раскатился гром.

А там и пошло! Молния за молнией, точно все небо в пламени; а удары так и следуют друг за другом. Еще не затих один, другой еще громче рассыпается.

Деревья не шелохнутся. Вот-вот опалит какое-нибудь с вершины до корня.

Няня лампадку перед иконой поправила, на колени стала — молится.

Что-то жутко сегодня и ей, никогда ничего здесь не боявшейся.

— Пошли, Господи, дождичка. Нехорошо, всухую гроза!

И точно молитва ее услышана — хлынул дождь. Целые потоки полились с неба, да так и пошли на всю ночь.

Не спится няне...

Молнии реже стали. Минут по десять, а то и больше не освещают ее комнатку, а за окном будто светом все залито. Фонарь, что ли, с улицы?

Нет, он эту часть сада не освещает. Сюда выходят окна из бывшей бильярдной комнаты. Ее к свадьбе под второй танцевальный зал очистили, а над нею зоюшкины комнаты расположены.

Подошла к окну старушка.

Молния блеснула — прогремел гром.

У нее в комнате темно, а сад светом залит.

Уж не загорелось ли что? Долго ли до греха? Молния-то чуть не по земле стелилась.

— Покликать, нешто, дворника?

Не услышит; голос и без грома дождь заглушит. По крыше, по стеклам, по деревьям так и барабанит.

Пойти самой посмотреть. Зажгла старушка свечку. Только вышла в коридор. едва не задуло. Холодным ветром так и потянуло.

— Ну, так и есть, где-нибудь ставню сорвало. Сквозняк образовался, а это при грозе нехорошо.

Прикрыла свечку рукой — идет.

— Что это музыка как громко играет? Концерт, что ли, какой? Для концерта быть уж и поздно.

Идет старушка и не то она к музыке, не то музыка к ней приближается. Вот что значит, окна повывбиты. Музыку-то так слышать, точно она в доме играет...

Да у нас и есть. Вот и свет из-под двери выбивается...

Ускорила шаги, распахнула дверь, да так и обмерла.

Зала ярко освещена. Большая люстра и все бра горят. На хорах музыканты сидят — играют. Льются плавные звуки полонеза. Пары медленно, грациозно выступают. Одеты невиданно...

Замерла няня... глядит.

Длинная лента танцующих пар из миллиардной в залу движется, вдоль стены загибается; до середины дошла, повернула — к ней направилась.

Все такие спокойно-важные; никогда прежде ни у Лярских, ни у Потехиных ею не виданные.

Смочит на них, смочит, а у самой в душу страх заползает.

— Няня, уйди; беда, если тебя заметят.

Взглянула, а с ней рядом Зоя стоит в венчальном наряде; любовно так смочит, на дверь показывает..

А у старушки ноги к полу пристыли, не слушаются.

Поздно, первая пара ее заметила!

Кто же этот барин? Где его видела?

Пары расстроились; бросились к ней, спешат, толкаются; вот-вот схватят...

Зоя с головы вуаль сорвала и на няню накинула. — «Моя», — говорит, — «не позволю!»

Старушка замертво упала на пол.

* * *

Утро ясное, светлое.

Копается дворник в саду, дивится, что няня так заспалась. На окно посмотрел, жену посылает:

— Сходи, Катерина, не занемогла ли старушка? Никогда так долго не спала!

Жена пошла, — вернулась.

Все крепко заперто; стучала — не откликается. За ключами от парадной двери сбегали. Вошли. Все двери из коридора в приемные комнаты открыты, а в зале на полу без сознания лежит няня.

Так и не пришла в чувство, что ни делал с ней доктор.

Столбняк, говорит, какой-то нашел!..

Замкнули дом. Еще тише в нем стало. А по Боркам шепоты-страхи ползут-разрастаются...

IX

Сны Потехина

Если так жарко было вчера в Борках, то каково же в Москве!

Дома и камни мостовой раскалились, нога тонет в асфальте тротуаров. Раскаленным воздухом невозможно дышать. Редкие прохожие еле бредут по теневой стороне; по солнечной идти не дерзают. Немало лошадей пало, да и с людьми были случаи солнечных ударов.

Слава Богу, не часто жара такая бывает. Вечерней грозе все обрадовались, а ливень прямо благословляли. Все же легче стало.

Душно было и в огромной спальне Потехина. Большую, обставленную старинной мебелью комнату не спасают плотные шторы.

Непрерывные молнии заливают ослепительным светом массивные кресла и шкаф, старинный красного дерева комод и дорогой богатеиший киот-божницу в углу.

На иконы здесь денег не жалели. Ризы и венчики горят и переливаются разноцветными огнями то при ярком блеске молнии, то при мигающем свете лампы.

Посредине большая икона Богоматери кисти знаменитого художника. Икона живет, вот-вот выйдет из киота. Ризой она не покрыта, только венчик над головой тончайшей художественной работы. В нем дрожит и сияет громадный бриллиант.

На широкой массивной кровати спит разметавшийся Потехин.

Не слепит его молния, не будит грохот грома. Спит тяжелым сном. Из груди вырывается затрудненное дыхание, на лбу выступили крупные капли пота.

Снится ему охваченная тесным кольцом леса маленькая деревушка Пестровка.

Есть такая поговорка: «По обличию — кличка», и действительно метко названа деревушка Пестровкой. Маленькая она, всего двадцать дворов, а постройка самая разнообразная. Есть два прекрасных дома под железом; есть и под тесом, а среди них избушки по одному оконцу, гнилой соломой крытые.

Стоят — не стыдятся. Чего тут! Мы-де раньше богатеи были построены.

На краю у самого леса избушка Власа Корунова.

Старенькая избушка на один бок покосилась; оконце из зеленого стекла потускнело от времени; сверху гнилой соломой нахлобучена.

Бедный мужик — Влас, но хозяин заботливый; с утра до позднего вечера в работе. Если не в поле и не в лесу, то до-

ма топором стучит, стену у избенки подопрет, ворота подправит, ступеньку новую на крылечке приладит.

Да и мало ли в крестьянском обиходе работы найдется, а у него не знаешь, к чему и руки вперед приложить.

Внимательнее всего он к конюшенке своей относится. Пристроил ее к самой избе. Хотя и из старой бани стены выведены, но промшил их Влас хорошо, оконце для света прорубил, а крыша даже лучше, чем на избе.

В конюшне у него бесценное сокровище стоит — Гнедко.

Подарила его ему еще маленьким жеребенком барыня-покойница, у которой он в летнее время в саду убирався

Жеребенок вышел на славу — цены ему нет; холит его Влас пуще детища родного.

Об осени ему уже два года.

На Петров день в Красном — ярмарка. Народу съезжается со всех концов; вот он туда и Гнедка своего отведет. Хорошо продать можно, а тогда и нужде конец. Избу поставит новую, скотинки подкупит, у соседнего помещика лужок снимет.

Мечтает Влас, жеребенка своего чистит, а у того шерсть, как шелк, блестит. Пофыркивает коник, на хозяина лукаво глаза косит, тонкими, породистыми ножками перебирает.

— Полюбуйся, дескать, какой я красавец вырос. Сколько ты животов за одного меня купишь? Только смотри, смотри, в дурные руки меня не отдавай

Залюбовался на него Влас, а у самого сердце вдруг ёкнуло.

В округе, слышь, конокрады проявились. Да чего в округе, у них в Пестровке на прошлой неделе у Петра Волкова мерина свели. К батюшке, слышь, подбирались, да Азорка лай поднял, работник во время выскочил. А ну как...?!

Мысли не кончил мужик, затрясся, побелел весь. Нет, пусть изведусь, а до ярмарки ни одной ночи до рассвета спать не буду.

Потрепал по шее Гнедко, любовно так в глаза ему заглянул, крепко замкнул хлевушок и деловито жене в огород крикнул:

— Я ухожу, Ариша. Смотри, доглядывай! Мало ли что день, — лихих людей много!

* * *

Заметался, застонал, силится проснуться от неприятных видений Потехин, но сон не выпустил его из-под своей власти. В новом, совсем чужом облике видит он себя на опушке леса у самой Пестровки. Это его собственное сердце бьется в груди молодого парня, с тревогой поглядывающего на затянутое тучками небо.

— Эх, погодил бы дождичек, — с беспокойством думает он, — на мокрой земле всякий след виден, а сейчас хорошо; полверсты всего до речки, а там по воде с версту пройти и в овраг каменистый, к самому берегу подходит. Тогда уж, ау! Поминай, как звали! Что это сердце как щемит, ужель не к добру?

Пустяки, бабьи сказки!

Обещал товарищам, что жив не буду, если Гнедка не уведу. Этот двухлеток не одного десятка разных меринков стоит, — породистый!

Эх, тучки бы потемней нашли, да дождичек бы пообождал!

На деревне тихо.. Пусть еще поразоспятся. На хлевушке замок.. Ничего, дерево гнилое, без звука пробой выдержу.

Жеребенку надо морду обмотать, чтоб не заржал slučajем. Только бы со двора свести, а там...

Поднялся; сердце, как молот в груди бьет. Чудится ему, что на десять шагов его слышно. В висках стучит, к голове кровь приливает.

— Э, брат, так далеко не уйдешь!

Постоял, тряхнул головой, глубоко, всей грудью вздохнул.

Вышел на опушку, еще раз прислушался.

Тишина!

Лес не колышется, а как будто шумит...

— Как же это так?

Да это не лес; это у него самого кровь в висках бьется, да в голове шумит.

— Что это со мной? Никогда такого не бывало — не впервой ведь! Что ты Гришка, очумел, что ли? — упрекнул он сам себя. — Али в бабу превратился? Так распустишься; одна тебе дорога в монастырь послушником. А какой тут послух; перед глазами Даша, как живая, стоит. Она не знает, что я конокрад... Боже спаси! Хоть и бобылкина дочь, а не тех правил. Вот она так скорей моего в монастырь уйдет. Глаза у нее какие-то серьезные, да бездонные!

Эх, не ко времени все эти думы!..

Сейчас твердая рука нужна, а главное, ясный ум...

— Николай Угодник! Святитель! Не отступись! Свечку твоей иконе в руку толщиной поставлю, молебен отслужу!

Молитвенно посмотрел на небо, перекрестился; вздохнул еще глубже и твердо и в то же время тихо, по-кошачьи двинулся к крайней избе Власа.

Калитка не скрипнула. Вот и хлевушок. Замок нащупал, небольшой железный шкворень подложил, умело, осторожно, сильно нажал... Пробой безшумно выскользнул. Вот и Гнедко!

Ах, проклятый! Не успел ему головы обмотать — заржал...

В тот же миг дверь в избе хлопнула.

Заступись, Царица Небесная!

Метнулся было назад к лесу, огромная фигура Власа дорогу заступила.

— Попался, конокраде окаянный!

Гришутка заметался и вдруг вместо леса вдоль деревни кинулся.

Влас за ним.

От неистового крика последнего захлопали оконца и двери — теперь уж не один Влас за ним гонится.

Добежать бы до околицы, а там рожью опять, да в лес! Поймают — убьют! Хуже — мучительно, долго колотить будут... Напрягает все силы... Дух захватило, колотится серд-

це... А погоня близко... Чье-то горячее дыхание у себя на затылке чувствует... Вот и околица... Выскочил, круто повернул в сторону леса... споткнулся, гулко о сухую землю ударился.

Про канаву вдоль дороги забыл. Теперь все равно поздно! — пронеслось в голове.

Кто-то насел... Как молот, кулак на затылок опустился... Больно об землю носом ударился... Кровь полилась... Рванулся... Нет, шалишь! Десятки рук в него вцепились... Волокут на деревню... Крики, шум... Галдят все разом...

Гришка опаматовался, осмотрелся.

Народу много, держат крепко... Понял: смерть пришла!..

Теперь уж ничто не спасет... Озлить разве, чтобы поскорей конец был...

Нет, подожду. Может, в волость пошлют, тогда спасен буду.

Мелькают одна за другой мысли.

Среди деревни у колодца большая луговина, сюда волокут.

— Тащи хворосту, разводи костер. Посмотрим, что за птицу поймали!..

Растрепанные спросонку бабы, девки, ребяташки, все тут.

Мальчишки живо соломы да хворосту приволокли, костер раздули...

Пламя вспыхнуло, красным светом облило пойманного.

Красавец молодец... Высокий, стройный; темные волосы над белым лбом кольцами завились, дуги бровей четко выделяются, глаза, как угли горять.

— А! Гришутка Кривозерский!

— Вот какая птица к нам залетела!

Звонкий, жесткий удар по лицу.

Пошатнулся, но устоял. Упаси Боже упасть! Тогда уж смерть, ничто не спасет, — несутся у несчастного мысли.

Тяжелым горячим дыханием обдал его Влас и что есть силы ударил под ложечку. Искры посыпались из глаз. Не

вольный стон вырвался из груди.

Крепко держат, потому только не упал.

— Православные, опамятуйтесь! Что делаете? Отвечать будете, — прошамкал, пробираясь сквозь толпу, какой-то старик.

— Не замай, дедко, отойди! Самому попадет, — толкнул его в сторону молодой парень.

Повернул старик обратно, поймал внучонка.

— Духом лети на село, тут и трех верст нет. Подымай урядника, старосту. Торопи, пока смертоубийства нет!

Полетел мальчуган, только пятки сверкают.

А в деревне начался беспощадный, страшный самосуд...

Вспомнили все пропажи за много лет, все Гришке теперь приписали, и каждый стремиться ударить.

У Гришутки лица давно нет, кровавая маска какая-то.

Бьют по чем попало... по лицу, по груди, по бокам...

Упал... густой кровью харкает...

Влас из ближайшего тына кол выхватил, за ним вооружились другой, третий! Началась бойня, не приведи Бог! Гриша глухо кричал, стонал, хлопал, кровью, видно, давился и замолчал...

* * *

С последним вздохом Гриши необъятный покой сошел в душу Потехина; вздох облегчения вырвался из груди, но... недолго продолжалось состояние блаженства; страшное, непреодолимое, глухое раздражение заклокотало в груди. Вот он опять Влас — это его руки без усталости бьют тяжелой дубиной неподвижное тело. Ему помогают другие... Долго, сосредоточенно бьют...

Умаялись... остановились... опамятовались... широко расступились...

Неужели помер?!..

Ярко освещенный костром, лежал неподвижный окровавленный человек с сине-багровой вздутой маской вместо лица

Затихла Пестровка.

Мужики молча, осторожно отступили. Даже любопытные бабы к телу не приблизились... По хатам разбрелись... Притаились...

— Неужели убили? Что-то теперь будет? — крестятся при мысли об этом неведомом будущем.

Гришутка лежит. Мученической кончиной грехи испустил.

.

Чуть свет начальство понаехало.

— Звери — не люди! Что с парнем сделали, — ужаснулся становой. — Ну, берегитесь теперь у меня, дьяволы! Мне неприятности, а себе беды натворили.

На разбор дела опустим завесу!

Стоят понуро трое зачинщиков. Руки крепко за спиной связаны. Впереди — главный из них, Влас. Сейчас его увезут.

Простоволосая, босая, с грудным ребенком на руках бежит Арина.

— Влас, родной, дорогой! А я как же? А Васютка?

Всех растолкала, свободной рукой охватила его шею, к груди с ребенком прижалась, плачет, причитает.

Дрогнул и Влас. Слезы из глаз полились, Арине волосы и лицо смочили.

Обнять бы, прижать, приласкать на прощанье, да руки за спиной связаны...

Слезы бегут и бегут... и от волнения слова сказать не может...

Оторвали Арину... Усадили арестантов... Тронулись...

— Влас! — воплем вдогонку несетя.

Оглянулся. Ариша его за телегой бежит, ребенка протягивает, а сама, как полотно, белая... Разжались ослабевшие руки... упал ребенок... за ним мать грохнулась...

По лошадям ударили; поднявшаяся пыль скрыла от Власа жену и ребенка.

— Эх, сердце! Что не остановилось тогда, не замерло навек!

* * *

Стонет, мечется на постели Потехин. Из груди вздох — крик вырвался... Проснулся. Взглянул на икону; под мигающим светом лампы лик Богоматери ласково, кротко улыбается.

Блещут почти без перерыва молнии, раскаты грома, следуя один за другим, сливаются в непрерывный, зловещий гул.

— Суд Божий, — тихо произносят уста.

Встал... Долго, до усталости ходил по своей обширной спальне.

Душно. Открыть бы окно, да дождь в стекла целыми потоками бьет. Выпил залпом большой стакан воды, который всегда ставили ему на ночной столик, несколько успокоился. Снова лег... забылся скоро, уснул.

Гроза затихать стала; дождь прекратился; воздух посвежел.

Спит богатый купец, но дух его опять во власти тяжелого кошмарного сна. Нахмурились седые брови, глубокая складка залегла между ними, углы рта опустились.

Что же с ним? Не снова ли Пестровка снится?

Нет!..

Снится, видится купцу именитому лес дремучий, страшный! Не только дороги, но и тропинки в нем нет настоящей, а те, которые есть, зверями дикими протоптаны. Не заглядывает сюда человек по доброй воле, особенно теперь, в глухую осень. Непрерывно целый день потоком льет

дождь, и даже гуща деревьев не спасает от него двух забредших сюда несчастных.

В самой чаще леса, далеко от каких бы то ни было тропинок, целиной пробираются два оборванца.

Ноги босые, на плечах подобие одежды, руки и лица посиневшие, исцарапанные... Промокли до костей. Еле бредут, а тут еще мокрые травы да молодые поросли ноги обвивают и путают. Один из них, если бы выпрямил стан, богатырем бы показался; другой — маленький, щедущий, в чем только душа держится. Согнулся в дугу, кашляет, спотыкается.

— Не могу идти дальше, Влас, душа из тела вон просится. Иди, спасайся один, меня брось зверю на съедение. Все равно мне домой не дойти. Если спасет тебя Бог, земле родной поклонись, шепни ей, что я на все муки и риск побега решился от тоски по ней. Знаю, что не жилец я на свете, а вот хотелось на родной земле умереть.

Повидать бы хоть издали стариков моих; братишка большой, поди, вырос, а сестры, вероятно, уж и дома нет; тогда была невеста, на выданье...

Ой, тошно мне, дыханья нет! Смерть идет!

Упал, тяжело дышит. Стоить над ним великан, не знает, что делать.

В лесу он с ним встретился; вместе много опасностей делили; неужто бросить теперь зверю на съедение?

Попробовал приподнять.

— Обопрись на меня, авось Господь милостивый куда-нибудь да выведет!

— Нет, не могу... Иди один... Я уж из последних сил выбился. Все равно не дойду!

Приподнялся бедняга на руках, прополз немного и упал в кусты.

Погиб человек...

Долго в раздумье стоял над ним Влас и вдруг его мысль молнией осенило.

Ведь умирает здесь ссыльнопоселенец; а он, Влас, беглый каторжник. Не лучше ли, кабы наоборот было?

Еще раз приподнял, но тот мешком на руках повис. Опять кашлем с кровью зашелся. Глаза помутились.

— Прощай, — шепчет.

Бережно опустил его на траву.

А враг все нашептывает: сними да сними с него мешочек. Там документы у него, да денег рубля два, а то и больше. Нагнулся... шнурок нащупал... дернул. Широко раскрылись глаза умирающего. Шевельнулся, слабой рукой за мешок ухватился, шепчет:

— Влас! Суда Божьего побойся!

Но Влас уже перестал колебаться, откинул слабую руку больного, и, схватив мешочек, бежит целиной дальше, — дальше...

А за ним точно шелест несется и чудится шепот: «Суда Божьего побойся!»

Долго, долго диким зверем через кусты и чащу напрямик Влас пробирался. Ноги, руки, лицо в кровь изодрал. А холщовый мешочек за пазухой раскаленным железом лежит. Точно тело насквозь прожест, до души добирается.

Вот на поляну какую-то вышел. Остановился, перевел дух...

На лицо решимость легла...

Прощай, Влас Корунов!

Во весь богатырский рост выпрямился и твердым шагом пошел дальше — Ипполит Потехин.

Потом — заимка. Жизнь на ней работником... Женитьба... Смерть тестя... И он в Москве с тремя тысячами в кармане, с женой и малюткой-сыном.

— Сережа!

Стоном вырвалось вдруг из измученной груди.

Прохватился; порывисто вскочил и сел на кровати.

Жгучей, нестерпимой тоской подкатывало сердце к горлу.

Шатающимися шагами добрался до божницы, стал к ней почти вплотную и долгим пытливым взглядом погрузился в лик Богоматери.

Что за думы сверлят его голову? Какая тоска теснит грудь?..

Глава X

За монастырской стеной

В пяти верстах от города N...ска, на невысокой горке, почти упираясь в сосновый бор, раскинулся женский монастырь. На самой вершине — церковь; золотой купол ее увенчан ажурным крестом. По склону горы бегут домики-кели, полуспрятанные под ветками берез и сосен. Перед каждым домиком разбит цветничок; густо посыпанные желтым песком дорожки прихотливо выются между деревьями, сходятся на большой церковной площади и вновь бегут по другой стороне горы в большой фруктовый сад, а за ним на монастырское кладбище. Все здесь дышит красотой покоя, мира, тишины, земным раем кажется всякому постороннему взгляду.

Все это завела здесь последняя игуменья мать Антония.

Ее предшественницы признавали только строгую простоту. Ни цветов, ни даже веселых желтых дорожек не было здесь и в помине. Все было бесцветно, понуро, холодно.

.

Сегодня день был томительно-жаркий, солнце палило нещадно.

Лес густо напоил смолою воздух и затих, притаился, не шелохнется; даже птицы замолкли.

Черные тени монахинь медленно, вяло бродят по дорожкам, стараясь не выходить из тени.

Цветы опустили головки, стрекозы и бабочки спрятались под листьями; одни только неутомимые пчелы деловито жужжат, перелетая с цветка на цветок в поисках меда.

Все живое ждет благодетельной прохлады — вечера.

К вечеру начали набегать тучки, собирались все в большем и большем количестве, а к ночи огромная мохнатая туча нависла над монастырем, спустилась ниже креста цер-

ковного, накрыла, придавила собою кельи.

Наступила жуткая тишина и непроглядная тьма.

Слабо мерцают лампадки за маленькими оконцами келий. Монастырь погрузился в сон.

Недалеко от церкви, за большим палисадником — домик игумены.

Уютно и светло в ее приемных комнатах и душно в маленькой спальне.

На узкой жесткой постели беспокойным сном спит игуменья.

Брови нависли над впадинами глаз, скорбно опустились углы губ, стоны-вздохи вырываются из впалой груди.

Видит себя старуха-игуменья юной монахиней Антонией.

Снится ей маленькая узкая келья. Высоко проделанное оконце скупно пропускает свет и отнимает возможность любоваться ликом Божиим.

Все обдумано строго. Монахиня не должна отвлекать своих мыслей от поста, молитвы и изнурения плоти.

Перед иконой Богоматери слабо теплится лампадка, на аналое Евангелие и крест. Затем — табурет и узкая, жесткая кровать составляют все убранство келии.

На кровати разметалась стройная молодая монахиня; не о молитве и покаянии думает она, душа ее далеко от кельи.

На губах блуждает улыбка, широко раскрытые глаза блестят негой, и видно, что перед мысленным взором ее плывут одна за другой яркие, светлые картины.

Нежится и отдыхает в волнах воспоминаний девичья душа.

Вот соскользнул к плечу широкий рукав и в полумраке кельи обрисовалась белая, полная ручка.

Невольно сама залюбовалась красотой ее линий и розоватым мрамором кожи.

Улыбнулась и опять замечталась...

Постепенно замирали мысли...

Истома, предвестница сна, охватывала усталые члены.

В ее засыпающем мозгу зарисовывается картина празднично убранной церкви.

Венчики икон обвиты цветами, горят паникадила, воздух густо напоен ладаном и запахом воска горящих свечей, путь к алтарю усыпан зеленью.

Лучи солнца золотыми искрами прорезают облака фиамиама, оживляют позолоту иконостаса, скользят по молящимся.

На амвоне две старших монахини, своими черными мантиями прикрывают всю в белом, коленопреклонную юную девушку, готовящуюся произнести страшный обет — умереть для мира.

На клиросе поет хор.

В темном углу безутешно рыдает распростертая на полу женщина.

Она знает, что вот-вот услышит, как дочь отречется от нее, а затем не пройдет и часа, как ее юную любимую красавицу Дашу на длинный, длинный ряд лет запрут в гробу-келье.

— Боже мой, Боже! Не ведает мое дитяtko, что творит. Наступит час сожаления, откроются глаза и уши, остававшиеся так долго слепыми и глухими к ее материнским просьбам и увещаниям. Сейчас не хочет видеть она ее слез и слышать ее мольбы.

Врагом считает мать родную.

Недоброжелательно косятся на рыдающую мать монахини. Строго смотрят с икон глаза угодников, а там на амвоне же начался роковой обряд... Проснулась молодая монахиня, вздрогнула, приподнялась на постели. С ужасом всматривается во мглу кельи, с губ сбежала улыбка, потухшие разом глаза наполнились слезами. Вскочила... отчаянно заломила руки... Не могу! Не могу жить одна! Это так страшно! О, как невыносимо тяжело!.. Гриша мой! Видишь ли ты, понимаешь ли ты все это?

Мама моя, мама! Приди, вырви меня отсюда!.. Спаси меня!..

Слезы градом катились из глаз.

...Я не смею думать о земном, не смею даже плакать... Я — монахиня!

Нет возле меня живой души... Все одна... одна... Как это ужасно!

Ты там не знаешь, Гриша, как мне тут холодно, тесно, душно...

Но нет-нет! Ты знаешь, ты видишь, слышишь меня!

Я не хочу думать о том невыразимом ужасе, не хочу помнить рассказов...

Тот несчастный страдалец... ведь это не ты — не ты?

В моей памяти и снах ты остался живой, веселый, ласковый.

Боже милостивый! Прости его и помилуй! И не оставь меня в моем одиночестве. За что отступился от меня мой ангел-хранитель? За что Ты покинул меня милостью своею?

Боже мой, Боже! Молюсь Тебе, зову Тебя из последних сил, услышь, помоги!.. Одна, все одна!..

Я не хочу, не могу быть одной! Сейчас застучу, закричу, разобью, разломаю окно! Дико горят глаза... С угрозой протянуты руки...

Замигала, потухла лампада.

Черная тень метнулась к дверям, распахнула их...

Глубоко, жадно дышит.

Бесшумно двинулась под покровом густой листвы деревьев вглубь ограды, к могилкам.

Ей легче среди мертвых, они поймут и не осудят. Там нет строгих глаз матери-игуменьи, нет ехидно смиренной казначеи Варламии.

Забралась в самый угол, тоскует, мечется. Отделила ее от мира стена каменная, толстая, высокая.

Стучи — не достучишься; кричи — не услышат.

— Мать ты моя родимая; чует ли твое сердечко, как я здесь маюсь? Помнишь ли страшный день моего пострижения? Не послушалась тебя — решилась...

Думала — легче будет. Гришу забуду, душа успокоится. Не стало мне легче; лучше бы с тобой осталась.

Боже, как душа болит, как сердце рвется. Что это со мною? Аль новую беду чую; старой ли избыть не могу?

Боль души до края дошла!

Боже мой, Боже! Где же Ты там в небесах?

Да полно, уж милосердный ли Ты и праведный? Не Иегова ли Ты, вечно карающий?

Схватила руками за грудь, за голову, потом к небу их протянула, на землю холодную бросилась. Нет облегчения! Над нею небо высокое, синее; звезды мигают холодные. Одна!..

Задумалась... замечталась...

В мозгу у нее запечатлелась яркая картина ее ночного гадания...

Глубоко, в глуши лесной мельница Михеича. К ней ведет хорошо протоптанная тропинка. Не одна она в ночную пору сюда о судьбе своей погадать пробирается, многие и до нее ходили, и после нее пойдут про счастье или горе грядущее узнать.

Сердце больно стукнуло... Остановилась...

— А вдруг и я горе какое увидеть спешу? Не вернуться ли назад?

Перед глазами Гриша как живой встал. Высокий, статный, кудрявый; глаза отвагой, молодечеством блещут.

— Ах ты, любимый мой! На грудь твою так хорошо склонить голову.

Обовьет меня рука сильная; надо мною он нагнется, с волосами русыми его кудри черные перепутаются, шепчет слова нежные, любовные; устами горячими жадно прильнет, душа моя из тела вон запросится.

Ах, Гриша, сокол мой ясный! Да я за тобою на край света пойду! Ни мук, ни несчастья не испутаюсь!

Для чего же гадать иду?

Люди злые, завистливые вокруг его имени клевету плетут; мою бедную маму смущают...

Дальний он. В городе на заработках постоянно, землей своей не занимается, а одет щеголем, ну и плетут.

Вот я в его хату хозяйкой войду, землей займусь, а он в городе зарабатывать будет. Хорошо заживем, милый мой... Что удивительного, если в пустую избу ему приходится неохота?

А вот потом с заработков домой спешить будет; дома его жена молодая ждет не дождется. Шаги заслышит — навстречу выбежит.

А потом сынишку, красавца кудрявого, в отца вылитого за ручонку выведет. Ах, хорошо... Даже дух захватило от счастья!

К сосне прислонилась, глаза серо-голубые с поволокой к небу подняла, звездам улыбнулась, Бога поблагодарила. Сама она тоже, что твоя звездочка ясная. Под стать Грише; стройная, коса русая ниже пояса, под дугой бровей глаза мягким блеском светятся, на щеках румянец горит, уста алые улыбаются...

Порыв ветра пронесся по лесу.

Зашуршали, зашелестели редкие березки; зашумели, закачались высокие сосны, закрипели тонкими вершинами, задвигали, к земле наклонили ветки лопастные.

Уж не тебя ли, красная девица, схватить да остановить собираются?

— Ой, не ходи! — грозно, предостерегающе шепчут.

Очнулась от мечты своей Даша. Шагнула, остановилась назад, оглянулась на тропинку битую, что между сосен причудливо вьется, и решительно быстро вперед двинулась.

К шорохам леса журчание воды присоединилось. Загадочно-ласково шумит она, через плотину просачиваясь; в речушку падает...

Вот и мост... Мельница разом из-за деревьев ей навстречу выплыла.

Колесо стоит, не шелохнется.

Молодой месяц серебристым светом залил всю полянку, мельницу, избушку Михеича, притаившуюся у самого леса, брызгами рассыпался по водной ряби, в речушку опрокинулся.

Стоит Даша, как зачарованная.

— Что, девица, или о судьбе своей погадать задумала? К колдуну-мельнику средь ночи не побоялась наведаться, — задрезжал старческий голос у нее за спиной.

Даша вздрогнула, обратно к лесу попятилась.

— Трусись, девица красная? — подошел к ней близко мельник.

— Нет, не трушу, — оправилась Даша. — Это ты ненароком подкрался, а я на полянку твою загляделась, задумалась. Хорошо тебе жить, здесь, дедушка, одиноко только!

— Одиночество, красная, только в молодых годах страшит, а потом, как обтерпишься, да на людей хорошенько оглянешься, так оно одному и покойнее. Да я и не один: кот у меня, да сова ручная... Что девица, вздрогнула?

— Угадал ты, дедушка, погадать я пришла. Если можешь, покажи мне судьбу; да и домой мне пора!

— Пора, потому что полночь надвигается, самое для гадания время подходящее.

— Ха-ха-ха, — раскатился смех по лесу и горьким плачем закончился.

С головы до ног Даша вздрогнула.

— Что ты, девица, это моя сова тебя приветствует!

— Мяу-у-у, — метнулся мимо Даши черный кот, на плечо старику прыгнул. Куда яркий румянец девался? Как осиновый лист дрожит Даша.

— Ну, ворожить, что ли?

В самое лицо ей старый беззубый рот улыбается, и зеленые кошачьи глаза глядят.

— Да, — еле слышно, дрожащими губами прошептала Даша.

Ушел Михеич.

Плотина бесшумно поднялась. Вода каскадом полилась в реку, алмазными брызгами под лучами сцены рассыпалась.

Медленно, лениво колесо задвигалось... Одна лопасть по воде слегка чиркнула, другая наклонилась и уже сильнее ударила, за ней еще одна и еще... Залопотали, забрызгали, белой пеной сердито зашумели.

— Иди сюда, девица, — подвел Дашу почти к самому колесу мельник.

— В самую пену гляди, да, смотри, назад не оглядывайся. Я рядом стоять буду, а ты вот за эту сосенку держись, а то голова с непривычки закружится!

Обхватила Даша молодую сосну, без мысли, без чувств в пену глядит.

Мельник большой круг очертил, с ней рядом стал.

На плече черный кот сидит. Сова с мягким шелестом над головами пролетела, на сук опустилась.

Старик, на четыре стороны дунув, зловещим шепотом начал:

— За синими морями, за долами, за высокими горами, на алмазном престоле Вий сидит. Вельзевул у него слуга набольший, черти-ведьмы — все ему подвластны. Вся нечисть в воздухе, в воде, над землей, под землей — ему подчиняется. Огни желтые, красные, зеленые, тройным поясом окружите нас, близко силы вельзевуловы пусть не подступаются. Магара, тагара, векши, чегеры, дымки воздушные, сусики, тупики подземные, ухитузи подводные, соберитесь, все меня слушайте. Властью, мне от Чубара, слуги вельзевулова, данною приказываю вам мне служить. Замутись, заklubись, расступись вода, покажи судьбу Дарьи-девицы. Шуры, чуры, буры — слуги Вельзевула — гоп-гоп-гоп!

Зашумел, засвистал ветер по лесу. Сосны стонут, скрипят, ветками широкими размахивают.

Над головой сова то плачет, то хохотом разливается.

Кот дыбом шесть поднял — фыркает.

Мельник скорым шепотом заклинание твердит.

Вода под колесом закипела, заklubилась, пар поднялся выше мельницы...

Вдруг все опало...

Колесо чистую, как хрусталь, воду чуть шевелит-двигает.

На дне взбаламученный песок в прихотливые фигуры складывается.

Что это за бугорки по дну разбросались, растут?

Да ведь это избушки. Большие, малые... Вот дворы при них. Деревня какая-то. Посреди площадь... Колодезь... Все это высокий лес окружил.

Тихо там как... Спят, что ли, все?

Вот какая-то фигура на краю леса обозначилась. Смутно — едва очерчена.

Двинулась к крайнему двору... Дверь распахнулась; мужик большой выскочил.

Первый метнулся — вдоль деревни бежит. За ним высокий мужик... Двери, окна в избах открываются ..

Боже, за одним бедняком ватага целая гонится.

Дашина душа вместе с этим бедняком бежит, какой-то нитью красной к нему привязана.

Споткнулся — упал!

С ним будто и она так больно о землю ударилась.

Окружили, ведут...

За толпой не видать его. А сердце у Даши тук-тук-тук... Тяжелым молотком в груди ударяется; кровь в висках бьет и шумит; в душу страх безумный заполз, волосы на голове шевелит...

Что это? Мальчишки малые, женщины, как мегеры, расстрепанные хворост тащат, костер раздувают.

Пламя занялось, столб дыму к небу тянется, искры посыпались, ярко поляну осветило.

На ней толпа людей шевелится, движется. Кулаки высоко поднимаются и тяжело падают на несчастного, который беспомощно посреди них качается из стороны в сторону.

Вот кулак огромный на лицо опустился. Плюнул бедняк густой кровью.

Еще удар по лицу, еще...

Кровь так и брызжет. Чудится Даше, что дымится она; кровавым теплом ей лицо обдаёт.

— Звери лютые, расступитесь! — стоном раздается в ее груди.

Зашатался бедняга, падает.

При падении лицом к ней повернулся. Силы небесные! С бесформенной окровавленной маски лица на нее с нечеловеческой мукой Гришины глаза глянули, его кудри черные, кровью смоченные, взметнулись, и...

Вода помутилась? Или это она, Даша, без чувств на руки мельника падает?..

Проснулась игуменья. Привстала, оглянулась. В келии умышленно сохранен вид прежний, спальня маленькая, узкая, оконце крошечное, в углу большой образ Богоматери — единое материнское наследие, благословила им, когда она к пострижению готовилась. На шаг отступя — аналой. На нем распятие и Евангелие.

Единственная только против прежнего роскошь — пушистый мягкий коврик, раскинувшийся почти на половину комнаты. На ноги стала жаловаться матушка, на колени уже едва становится, а тут еще новая беда, ступни опухшие зябнут. Ну и уговорили инокини свою матушку-игуменью роскошь такую, как ковер, допустить.

Называют ее великой молитвенницей и постницей, а того не знают, как много ей замаливать нужно. Спят в земле крепким сном звонарь — мать Феодосия и привратница — мать Агния.

Многое они могли бы рассказать про теперешнюю матушку, игуменью Антонию. Подняла глаза к образу, смиренно шепчет:

— Благодарю Тебя, Боже, за невзгоды и испытания, во спасение души моей посланные. Прости по милости Твоей незамолимый грех хулы на имя Твое!

Молода была, крест не по силам казался. Потому и не допускает теперь игуменья молодых послушниц до пострижения, а если замечает, что у которой-нибудь глаза неземной мукой светятся, то, как мать родная, с нею день и ночь пестуется и, Боже спаси, дверей перед ней закрывать не велит.

Не забыла, как она сама, юная Дарья-Антония, до зари на могилках об землю билась, как руки к небу то с горячей слезной молитвой, то с угрозой и проклятием протягивала.

Спит в земле и ехидно-смирная мать Варламия, всегда пытливо ей заглядывавшая в глаза.

Часто-часто пришлось бы ей быть под началом, а то и жестокое заключение в церковном подвале вынести, если бы не матушки Феодосия и Агния.

Первая углядела ее Феодосия. Ну и вставала, бывало, часом раньше звона, чтобы ее среди могилок найти и в келью тайком привести; не увидел бы кто, не заметил, что она по ночам по ограде и кладбищу мечется.

По уставу не полагается ночью из келии выходить.

А какому риску подвергалась мать Агния, подумать даже страшно. Обе они риском тяжелого наказания душу ей спасли. Вечный вам покой, мои земные ангелы-хранители!

Ведь едва-едва она на себя руки не наложила. Бывало, среди ночи ползком к матери Агнии приползет, ноги ей целует, бьется, рыдает; выпусти на часок на волю, открой двери страшные, тяжелые.

Душат, гнетут стены высокие, от мира ее отделившие; ужас наводит дверь замкнутая.

Не монастырь это, а могила, где живые души мучатся. Не хочу видеть лиц этих постных, глаз опущенных, молитв притворных! Не хочу слышать звона песнопений этих!

Ничему не верю! Не верю в Бога! Слышишь, мать Агния? Или выпусти, или иди предай меня, отведи к матери-игуменье. Думаешь, боюсь! Нет, ошибаешься, — безумно хочется молодая монахиня.

— Подвалом церковным пугает! Пусть посадят! Но прежде изорву, брошу ей под ноги одеяние это черное, а потом? Белье-то ведь оставите, и на решетке вашей тело мое висеть будет!

— Что ты, Христос с тобой, — наклоняется к ней лицо доброе-доброе, морщинки вокруг глаз лучами расходятся, худая рука мягко, любовно на голову опускается.

— Опомнись! Тяжкий непрощаемый грех хочешь на душу взять, жизни себя лишаячи... Не замолить тебе вовек и хулы на Господа, но велик он во благости и милосердии своем Видит душу твою. Потом замолишь, запостишь. А сейчас иди, а я на молитву за тебя стану.

Чуть звякнут ключи, не заскрипит осторожно приткрытая дверь и я на воле! Жадными, огромными глотками хватаю воздух, сбрасываю у порога ненавистную скуфейку и бегу, бегу...

Как не попалась никогда никому — это уж милосердию Божию да смиренной любвеобильной матери Агнии приписать следует. Потом обтерпелась, смирилась...

Опять, как когда-то, на руки свои взглянула игуменья.

Какие худые, желтые, сморщенные!

Глубокий, но не тяжелый вздох грудь приподнял.

— Благодарю и славословлю Тебя, Боже мой! — смиренно шепчут бледные губы...

Глава XI

На балу у графини Бадени

Бывшая дача Ромовых горит огнями. Сегодня графиня Бадени дает бал.

Один за другим подъезжают автомобили и кареты.

У порога танцевальной залы стоит красавица-хозяйка и с ней ее родственник Прайс.

На графине светлое шелковое платье и никаких драгоценностей. Да и на что они ей? Только побледнели бы рядом с ее лучезарной красотой.

Для всех у нее находится приветливая фраза и чарующая улыбка.

Несмотря на значительное увеличение площади самого дома и пристройку большой танцевальной залы, с трудом помещаются съехавшиеся гости.

На приглашение откликнулись буквально все.

Играли тут роль не только громкое имя, выдающаяся красота и громадное состояние хозяйки, но также и... глухие, смутные слухи, связанные с личностью графини. Слухи эти, очевидно, создавали ей рекламу и были тем магнитом, который притягивал всех в ее дом.

В роскошной зале на хорах заиграл оркестр; плавно закружились пары танцующих.

В бывшей спальне убитого Рогова шла карточная игра, а в прекрасно декорированных комнатах его трагически по-

гибших жены и дочери собрались солидные или просто не танцующие гости; среди них бесшумно скользят лакеи с прохладительными напитками, мороженым и фруктами.

Всюду слышатся оживленные разговоры.

Вот в углу большой террасы собрался знакомый читателю кружок: красавица Дарская, графиня Мирская, жена доктора Карпова, князь Волин и приват-доцент Сталинский¹.

Льется светский разговор.

— Вот где я нахожу вас, Елена Николаевна, — обратился к Дарской вошедший товарищ прокурора Корнев. — Огни танцевальной залы потому так слабо ее освещают, что в ней отсутствует самая яркая звезда!

— О, Всеволод Александрович, какое неудачное сравнение, — засмеялась Дарская. — Кто же не знает, что яркий свет и звезды понятия не совместимые. Вы, вероятно, хотели сказать, что я ушла в тень потому, что в зале слишком яркие огни!

— Елена Николаевна, преступно так искажать смысл моей фразы, а еще непростительнее заставлять нас искать вас по всему дому и саду!

— Ой-ой, Елена Николаевна, вас обвиняют в серьезном, непростительном преступлении; интересно, как сумеете вы оправдаться от этого обвинения, — вмешался в разговор Волин.

— Ничего, князь, я видела в саду нашего многообещающего юриста г. Захарова; если уж Всеволод Александрович очень обрушится на меня с своими обвинениями, я призову на помощь защитника!

— Тогда не вернее ли будет, Елена Николаевна, довольствоваться таким неквалифицированным, но зато свободным, как птица, защитником, как ваш покорный слуга? — с улыбкой склонился перед ней Сталинский. — Захарова я только что видел проходившим в сад с...

— М-lle Дурново? О, тогда, конечно, я выбрала неудачно и без вашего любезного предложения оказалась бы пре-

¹ В первой книге диалоги — приват-доцент *Сталин* (Прим. изд.).

доставленной собственным силам, а с таким противником это...

— Далеко не безопасно, поверьте. Я в этом убедилась, слушая неоднократно блестящие, но беспощадные обвинения Всеволода Александровича, — улыбнулась Карпова.

— В защитнике, оказывается, больше всех нуждаюсь я сам, а мою грустную и тяжелую обязанность взяли на себя все!

— Я беру вас под свою защиту, Всеволод Александрович, а в расплату за это не откажитесь помочь мне разыскать моего мужа!

— Счастлив хоть чем-нибудь быть полезным вам, графиня!

— Если вы произнесли слово «расплата», графиня, то присудите же ему достойное наказание, а не награду, каковою является ваше общество, и когда вы перестанете нуждаться в провожатом, передайте его в полон красавице-хозяйке, чем заставите молить за себя Бога многих и многих преступников!

— А я, превращаясь из обвинителя в просителя, умоляю Елену Николаевну придумать достойное наказание вам, князь, за ваше злое пожелание мне!

— Как так? Плен у такой красавицы, как наша хозяйка, вы, господа, называете наказанием, — с шутливым возмущением воскликнула Дарская.

— Графиня, бесспорно, ослепительно хороша, но...

— Вот всегда так. Восторгаются ее красотой, умом, грацией, обаятельным обращением и оканчивают обязательным «но». Уведите его, графиня, и по миновении надобности, в самом деле, передайте нашей очаровательной хозяйке, чтобы он или отказался от своего «но», или уж не ставил бы за ним точку, а ясно и определенно сформулировал бы его значение!

В роскошном уголке, стены которого видели трагическую кончину жены Ромова, собравшееся общество невольно заговорило о сравнительно недавнем преступлении и его жертвах.

— Ни за что не согласилась бы жить в этом доме, — заметила княгиня Вольская, — мне кажется, что от стен и сейчас еще слышен запах крови. Здесь почти в каждой комнате лежал труп!

— Да, — улыбнулся Зорин, — даже чердак, превращенный в антресоли с прекраснейшей бильярдной комнатой, напоминает мне повесившегося там денщика!

— Вот чему я должен приписать выигранную мною партию у такого игрока, как вы. Очевидно, вас так охватили воспоминания, что вы не могли сосредоточиться на бильярдных шарах!

— Вам ли говорить о случайностях моего проигрыша, г. Данилов; с моей стороны было дерзостью сражаться с вами, признанным королем бильярдной игры!

— Что за фантазия, господа, играть на бильярде, когда дом полон интересных барышень и дам. Я ушел было в этот уголок дать отдых моим старым глазам, а здесь, оказывается, ослепительно светит солнце, — поклонился в сторону Вольской Висс.

— Вас, ваше превосходительство, ослепила своей красотой, конечно, прекрасная хозяйка дома, которую вы встретили, входя в эту комнату; и вам все еще светят оставленные ею лучи. Признайтесь откровенно, — отпарировала его несколько тяжеловесный комплимент Вольская.

— Графиня Бадени, действительно, ослепительна, — вмешалась в разговор все время молчавшая старая княгиня Апухтина. — Если бы не ее кроваво-красные губы и не острые нижние клыки, жутко поблескивающие при улыбке, я бы сказала, что она, как две капли воды, похожа на одну мою знакомую княгиню, но та, слава Богу, покоится уже в земле и даже не оскверняет своими остатками склеп славного старинного рода, которому причинила столько беды.

В комнате водворилось молчание. Все догадались, какой славный род вспомнила Апухтина.

.

В это время на мостике искусственного пруда остановились m-lle Дурново и Захаров.

Молча любят они отражением света в воде.

Пруд находится в самой глубине большого сада. Сюда мало кто из гостей заходит, а звуки музыки долетают ласкающими мягкими тонами.

Притихшая, задумавшаяся Надежда Михайловна нежно прижалась к своему жениху.

Хорошо им здесь вдвоем.

Над ними в синем небе мигают звезды; у ног, в уснувшем пруду, тихо плещутся потревоженные необычным светом рыбы, а главное, полное отсутствие посторонних людей.

— О чем вы думаете, Владимир?

— Какой странный вопрос, дорогая, когда я здесь с вами!

— Я тоже здесь с вами, а однако сейчас упорно думаю... угадайте о ком?

— Уверен, о Прайсе. Это ваше слабое место, Надин, и, вероятно, для вас отравлен сегодняшний праздник тем, что Прайс является как бы его вице-хозяином?

— Это правда, я неприятно поражена его родством с графиней Бадени, но...

— Надин, родная, и вы произносите это «но», а знаете ли, что теперь почти все стали злоупотреблять этим «но», сопровождая им имя графини. Нашлись даже остряки, которые прозвали ее «графиней Но».

— На этот раз вы ошиблись; мое «но» не имело многозначительных точек и того загадочного значения, которые многие почему-то связывают с именем графини; я только остановилась, подыскивая более точное определение того, что меня в ней поражает.

— Что же, нашли теперь более точное определение?

— Да, меня поражают ее губы; не находите ли вы, что они имеют такой вид, точно только что вымазаны свежей кровью!

— Эта кровь называется...

— Краской, вы думаете. Нет, у нее губы не крашенные, а именно кровавые; приглядитесь!

— Слушаю, моя дорогая, а вы обещайтесь прогнать с вашего лица эту тучку какого-то грустного раздумья.

— Опять ошибаетесь, Владимир. Это вовсе не грустное раздумье, а моя обычная интуитивная способность предчувствовать грядущую беду или опасность!

— Да сохранит нас Бог от этого!

— Да сохранит, — тихо повторила за ним Надежда Михайловна. — Но мне почему-то становится жутко.

— Тогда вернемся поскорее к людям, к свету и танцам; авось, они разгонят мрачные предчувствия.

— Хорошо, идем к людям. Сегодня весело, светло, шумно; интересно, что-то нам принесет завтрашний день?

— Только 13 число, Надин, и продолжение нашего счастья, — нежно поцеловал ее жених.

Глава XII

Село Коржевка

На правом гористом берегу Волги широко раскинулось богатое село Большая Коржевка. С высоты своей презрительно смотрит на жалкие избушки Малой Коржевки, которая тоже широко, но как-то убого расползлась на другом песчаном берегу той же царственной реки. Между двумя селами непримиримая вражда.

Малая Коржевка населена православными, и занимаются они рыболовством и промыслами на стороне; но несмотря на это, живут бедно и грязно.

Большая Коржевка — село искони веков староверческое. Живут богато. Стройка основательная, вся под железом. Избы обнесены высокими заборами, дворы крытые, калитки на запорах. Крепко живут, не менее крепко и веры своей держатся. Со стариков и старух хоть иконы пиши,

такие лица у всех сурово-важные, а то и изможденные постом и молитвою.

С нижними коржевцами не водятся, зовут их табачниками и пьяницами.

Те, со своей стороны, тоже на верхних неодобрительно косятся и малых детей пугают верхними изуверами.

Это старики. А молодежь?

Ну, те, как выедут в праздник на катанье на лодках, друг на друга с улыбками поглядывают; шутками-прибаутками перекидываются, а то и свадьбу-самокрутку сыгراют.

Не раз даже случалось, что мало-коржевская девица в гору убежит, семиклиный сарафан оденет, голову на прямые концы повяжет.

Эта уж для отца с матерью пропала, старoverы запрут — не выпустят. Сверху побеги случаются рже; а коли случится грех, лучше сама куда глаза глядят убегай, а то ненароком и придушить какая-нибудь изуверка может.

У самого края Большой Коржевки изба Афанасия Крутых.

Старик-хозяин свое прозвище оправдывает вполне: нравом крутой, веры держится крепко, сам начетчик.

Их большая моленная почти всегда полна пришлым людом старой веры.

Детьми не богаты. Одна-единственная дочь Евдокия. Мать в ней души не чает, да и суровый отец любовно поглядывает. Женихов много, только Евка все перебирает, упирается.

Отец с матерью не неволят; пусть в доме поживет, покрасуется.

Мать налюбоваться не может на доченьку, что как маков цвет расцвела. Только последнее время любимая доченька точно прихворнула или запечалилась; с лица спала; румянец поблек, глаза потеряли блеск. И все от людей точно прячется. Извелась мать, на нее гляючи. А вчера отец из города вернулся черней тучи, дочку кликнул.

— Батюшки же вы мои родимые, не глядели бы глазыньки мои на вольный свет. Доченька же ты моя нена-

глядная, солнышко ты мое красное; что же ты над своей головешкой да над матерью старой наделала. Легче мне было бы тебя малым дитятком в гроб положить. Что я теперь, горемычная, с тобою поделаю, дочурка моя ненаглядная, дитятко мое несчастное...

Плачет, заливается, причитает мать в боковушке над замертво лежащей дочерью. Насилу она у отца ее вырвала, думала, насмерть забьет...

Яркое, погожее весеннее утро встает над Коржевкой; вот-вот все село проснется.

Первой распахнулась калитка Афанасия Крутых; из нее сильной рукой вытолкнутая Евка вылетела на середину дороги.

— Чтоб ты, умирая, отца с матерью вспомнить не смела, и на том и на этом свете проклята будь! — несется ей вслед грозное напутствие.

Сжалась, съежилась Евка. Идет, не оглядывается, из села спешит скорее выбраться, от проклятий отцовских на край света уйти, надрывного матери плачу не слышать.

За калитку мать вышла. Как же она в одну ночь составила, сгорбилась, из-под платка седая прядь волос выбивается.

Вслед дочке — жадно прощально глядит. На этом свете уж не увидятся. Глаза рукой прикрывает — лучше разглядеть хочет.

Ничто не поможет, бедная!

Это не солнышко восходящее, а слезы горькие-соленые твои глаза слепят.

На последнюю горку поднялась ее дочка, спускается... вот уж ноги исчезли, до плеч скоро спрячется, а там и головешка навек скроется.

— Дочушка, моя дочушка!

Старческие дрожащие руки в пустое пространство протянуты, рыдания грудь рвут. Вторично с резким щелканьем распахнулась калитка; тяжелая рука легла на плечо несчастной матери.

— Ты что? Народ дивить, что ли, вздумала? Чтoб я слез этих никогда не видал, слышишь! Или работы у тебя мало? Иди!

Калитка хлопнула тяжелым засовом, задвинулась.
Одним человеком в Коржевке навек убавилось.

* * *

Зной нестерпимый!

Среди ржи высокой еле бредет женщина. Трудно определить, молода она или стара. Идет, шатается, чуть не падает. Жарко, а она в большой черный платок кутается.

— Сил моих нет! Хотя бы до леса дойти, — шепчут сухие потрескавшиеся губы. — Говорят, теперь уж и до Москвы недалеко. Только бы дойти как-нибудь. Там Митю найду, ребенка ему отдам. Неужто уж не сжалится, ведь его кровь.

Осенью, как вернется, жениться обещал, а того не подумал, где мне до осени-то быть. Да мне теперь в те стороны и ходы отцом заказаны.

Мамочка ты моя бедная, дорогая, любимая! Не лучше ли мне было загодя тебе в беде признаться, горе свое поведать?

Берегла я тебя, да и сказать стыдилась. Вот и дождалась!

Жива ли ты, моя бедная? Верно, не меньше моего мучишься!

Посмотрела на свои ноги израненные... Башмаки давно износились.

Христовым именем идет, а куда, и сама не знает.

— До лесу бы скорее. Измучилась я.

Болит все тело. Спину как ножами режет. Дошла... В лесу тоже мало прохлады... Душно...

* * *

В стороне от дороги в кустах кто-то стонет; сквозь плач то мать, то Бога на помощь призывает. Женщина в страданиях извивается, скрюченными пальцами судорожно траву рвет, землю копает...

Мать далеко, Бог высоко; нет бедной помощи.

Стоны и плач в вопль перешли.

Чуть слышный писк.. И все затихло... Жаркий душный день к концу идет. Солнышко закатилось. Птицы умолкли; прохладой повеяло. Из кустов вздох послышался.

Женщина открыла глаза; после обморока в себя пришла.

— Что это холодно как?

Сбитое платье поправляет, рука во что-то липкое попала. Это она в холодной кровавой луже лежит.

Подвинулась, села.

— Что за слабый писк возле нее?

Окончательно в себя пришла.

Оторвала угол изношенного черного платка, завернула в него несчастного, в утробе матери проклятого родным дедом пришельца в мир.

Встала. Наугад по дорожке бредет, за ней кровавая полоска тянется, а с нею жизнь куда-то уходит; легкая ноша не по силам становится.

— Умереть одной в лесу! Как страшно! — несутся тревожные мысли.

Ночь месячная, светлая, тихая.

Ни признака ветерка, не скрипнет дерево, не шелохнется листок.

Молчит дитя. Шатающейся тенью идет по дорожке юная мать.

В больном мозгу бегут картины и мысли. Вот вновь начинает болеть нещадно избитое строгим отцом тело. Надрывно рыдает, причитает, точно над мертвой, несчастная мать.

Как бесконечно длинна дорога в Москву. Там Митя! Донести бы ребенка... За нею все заметнее кровавая полоса, — в ней все меньше и меньше сил. Скорее бы из леса. Скорее бы к людям. Скорее кому-нибудь отдать ребенка. Слава

Богу! Лес становится реже, за ним луга и на пригорке раскинулась усадьба.

Собрала последние силы... идет. Душа молит, кричит, призывает на помощь хоть кого-нибудь.

Будто послушные зову, широко распахнулись ворота усадьбы, пара черных, как ночь, коней, запряженных в черную же коляску, вынеслись на дорогу. На вожжах повис весь в черном кучер. Огнем горят глаза лошадей, страшен оскал закусивших удила зубов; не слышно звука копыт и колес.

В угол коляски откинулась одетая в белое дама. Глаза горят фосфорическим блеском. Бедная мать с мольбой протягивает к ней свое дитя.

Дама наклонилась; плотоядная улыбка растянула губы. На лету схватила ребенка и... ни коней, ни кучера, ни коляски...

* * *

Тринадцатое июня подарило Борки новым сюрпризом. При въезде в парк найдено обескровленное тело новорожденного ребенка с крошечной ранкой за ухом.

В трех верстах за Борками, у ворот наглухо забитой усадьбы князей Шацких, лежала мертвая молодая женщина, умершая, по определению врачей, от послеродового излияния крови. Каким образом очевидно убитое дитя оказалось в трех верстах от матери? Волнение в Борках росло.

.

В тот же день, выходя из помещения Уголовного розыска, бледный, без мысли и цели, шел по улицам Москвы Зенин. Неужели так подействовала на него жестокая отповедь начальства?

Нет, к ней он привык и знает, что за вспышкой гнева всегда последует справедливая оценка.

Страшно сознание собственного бессилия, ненужности и вредности своего присутствия на важном и ответственном посту.

Бездарность! нещадно окрестил он самого себя. Зашел на телеграф и сообщил своей невесте, что просит ее считать себя свободной, что он уезжает и уходит навсегда с ее жизненного пути.

Такой же бледной тенью дошел Зенин до крыльца своего домика и здесь остановился... Кругом благоухали цветы, веселой песнью заливалась канарейка, а внутри домика, за две комнаты от входа, умирала его мать. Дорогая старушка расстается с жизнью, не смутит же он ее последних минут своим личным горем.

Согнутый корпус выпрямился; голова гордо поднялась. Безднадежность сменилась тихой грустью и через минуту холодеющие руки умирающей покрывал прощальными поцелуями только горячо любящий сын...

Глава XIII

Душа отлетела

Маленький домик у Калужской заставы не изменился; не потемнела белая окраска; все так же блестят чистотой стекла его трех окон.

Гостеприимно раскрыты двери веранды, пестрит разнообразными цветами палисадник, ласкает взор свежая изумрудная зелень травы, весело желтеют дорожки и... вместе с тем, чувствуется во всем что-то мертвое и унылое.

На среднем окне нахохлилась и умолкла канарейка; на верхней ступеньке веранды сидит печально подвывающий песик — Бобка; через открытое кухонное окно не льется веселая песня Оксаны, аккомпанируемая звоном кастрюль и сковород; в самом домике не мелькает покрытая черным кружевным чепцом седая голова милой старушки; не раздаются ее обычные покрикивания на вечно враждующих

Пушка и Бобку; не выходит она за калитку сада взглянуть, не идет ли ее ненаглядный Володя.

Что же случилось с веселым домиком? Куда девалась его гостеприимная хлопотунья-хозяйка?

Почему притихли ее птичка и баловни-животные? Почему цветы печально опустили головки? Уехала или ушла куда-нибудь хозяйка?

Нет, не ушла еще она из своего любимого домика, и тишина его только кажущаяся. Необычный вид приняла и маленькая гостиная: сдвинуты в угол диван и лишние стулья; белым коленкором затянуто зеркало; большой столовый стол принесен сюда и поставлен на середину комнаты, а на нем, вся обставленная цветами, с нежным, строгим лицом, обрамленным густой тюлевой рюшью, лежит всеми любимая старушка.

Высохшие худые руки сжимают кипарисовый крест; брови слегка сморщены, точно она усиливается вникнуть в смысл печально-горьких псалмов, которые, стоя за аналоем у изголовья, четко и раздельно читает монахиня.

Слова сокрушения о содеянном, молебны о помощи, надежда и вера в твердую опору, нанизываясь друг на друга, наполняют комнату. В ней еще носятся струйки ладана после недавней панихиды, к ним примешивается запах воска горящих свечей, желтый свет которых, колеблясь и мигая, тускло освещает комнату.

В соседней комнате какая-то дама пониженным тоном отдает распоряжения Оксане.

Зенин заперся в своем кабинете.

Гнетущая тоска заползла во все углы так недавно еще веселого дома.

Что же случилось? Почему так глубока и велика во всем перемена?

Опустел навсегда белый домик.

Осиротели в нем люди, птицы, цветы!.. Из него отлетела душа!..

.

Отзвучали печальные песнопения панихиды, прорыдал хор «вечную память» и разошлась по домам любопытная толпа, собравшаяся поглазеть на покойницу и подивиться ледяному спокойствию сына, стоявшего у ног боготворившей его матери без слезинки в глазах, с крепко сжатыми губами и скорбной складкой на лице. Не дрожала его рука, державшая роковую свечу, не согнулись колена под гнетом страшных прощальных слов: «Вечная память!»

Быть может, в его душе больший отзвук нашли слова «Аллилуйя». А его осудили, да еще как осудили.

Досталось также немало пересудов и на долю молодой девушки, комочком сжавшейся в углу передней и припавшей в глухих безудержных рыданиях к полу.

— Смотрите! Бывшая невеста Зенина.

Безусловно, притворны эти рыдания!.. Просто воспользовалась предлогом войти в дом и надеется обратить на себя внимание плачем о так горячо любимой им матери.

С насмешливой презрительностью скользят по ней глаза соседок, но ничего не видит и не слышит сам Зенин.

Он — далеко от мира с его печальями и заботами; она — вся его на земле.

Любовь ее к нему глубока и беспредельна. Недоумевая перед причиной, побудившей его вернуть ей обручальное кольцо, она чувствовала глубокую драму его души, видела его нечеловеческие страдания и горько оплакивала смерть его ангела-хранителя — матери, которую и сама искренне любила.

Мать закрыла навек глаза, и он теперь один, один! А она не смеет пройти к нему!

— Боже, спаси и помоги ему в какой-то постигшей его беде. О, милая, хорошая, родная, — в безумных рыданиях звала она старушку. — Ты еще здесь; душа твоя не отошла еще от земли; будь же при нашем бедном Володе; не оставляй его одного! Что-то роковое, страшное мучит его в последнее время, а мы так его любящие, были от него далеко. Ты боролась со смертью; я, отвергнутая, не смела переступить вашего порога!

Вся ушедшая в безумный зов к мертвой, не слышала бедная конца панихиды. Очнувшись от наступившей почти полной тишины. Поднялась... вошла в комнату. Монотонно роняла святые слова монахиня, и в важном спокойствии слушала их покойница...

Зинаида Николаевна в страстном порыве припала к ее ногам. Их холод, проникая через парчу покрывала, освежил ей голову.

Пришла в себя... Поцеловала сложенные накрест руки и, шепнув внушительно: «Смотри, не оставляй его; в воздухе висит непонятная, но большая беда...», вышла, не оглядываясь. В саду наклонилась над клумбой, желая сорвать на память белую розу, но ошиблась стеблем, и в руке ее оказалась -кровно отливающая густо-красная гвоздика.

Неужели это предзнаменование? — вздрогнула Зинаида Николаевна и оглянулась на окна. Затем, не отдавая себе отчета, вернулась, вложила красный цветок в мертвую руку и, глядя упорно в закрытые глаза покойницы, медленно, строго приказала:

«Будь на страже, берегись!»

* * *

Дверь с опущенной тяжелой портьерой отделяет кабинет Зенина от мертвой матери.

Что же делает этот когда-то столь преданный и любящий сын?

Нервной рукой выдвинул ящики письменного стола и внимательно просматривает все документы, письма и заметки. Стоящая возле корзина не вмещает больше изорванной в мелкие клочки бумаги, и она, точно пушистый снег, устилает пол кабинета. Сам он находится в каком-то полусознательном состоянии, точно не видит и не сознает окружающего. Бледные губы шепчут отрывистые, непонятные слова, а саркастическая улыбка кривит по временам его рот, и начинает дрожать рука, нервно сжимающая какой-

нибудь лист исписанной бумаги, точно колеблясь, как поступить с нею; но через минуту мелкие белые клочки падают покорно возле своих предшественников. Вот остановился он над пачкой бледно-лиловых конвертов, связанных лентой. Застыл... замер над ними...

— Нет, их надо уничтожить бесследно. Никто не должен заглядывать в святое святых моей души. Я имел мужество проститься с Зиной, пусть же не попадают в чужие руки ее письма.

Прощай, прости, ненаглядная! Я должен уйти с твоего пути и из жизни. Я неудачник, выжатый лимон, без средств, лишенный службы и главное, с несмываемым пятном сознания своей полной бездарности!

Нежно прижал к сердцу и поцеловал душистую пачку, подошел к камину и недрогнувшей рукой поднес к пламени. Немигающими глазами следил, как неумолимое пламя постепенно охватывало всю пачку заветных писем, пока закрутившиеся отдельные листочки один за другим не превратились в пепел.

Наконец, почернело устье камина.

С усилием оторвал Зенин взор от темно-серой бесформенной груды, оставшейся от дорогих писем, и только теперь заметил, что в комнате стало темно. Наступивший вечер густыми тенями залег по углам; в печальном сумраке кабинета белел только пол, густо усеянный обрывками бумаги, да у окна чернел силуэт письменного стола с жадно открытыми пастьями ящиков...

— Пора, — прошептал Зенин. — Прощайте, Зина и мама! Единые дорогие существа на земле! На земле? Здесь остается одна бедная Зина. А мама? Я иду к тебе, родная! Сейчас увидимся!

На столе блестит револьвер. Сжала рука холодную рукоятку... Громко, больно бьется в груди сердце. Сейчас перестанет! Надо только без промаха в него целить! Дуло прижато к сердцу, легкий нажим пальца и...

Что это? Он не один уже в комнате! Перед ним, озаренная каким-то внутренним светом, четко рисуется фигура матери; мягко блестит шелк ее серого платья, чуть ше-

велятся ленты чепца. Ясно видны строгие черты лица и сурово, грозно глядят всю жизнь блестевшие для него любовью и лаской глаза...

— Навек губишь душу из-за земных пустых неудач, — раздается тихий неземной голос. Рука протягивает к самому его лицу кипарисовый крест. — Клянись до конца пройти жизненный путь. Благословение Божие сойдет на тебя! Заговорит мертвый дом. Гнев Господень покарает злодеев! Я приду к тебе на помощь не одна. Оглянись!

Оглянувшийся Зенин замер от неожиданности и удивления перед невиданно прекрасной женщиной, стоявшей за его плечами. Лучистые глаза ласково улыбались в ореоле золотистых волос; чуть наклонилась; губы раскрылись и прошептали: помоги открыть и обезвредить злодейку, спаси детей!

— Клянись, — чуть слышно шепчет мать, и суровые глаза ее увлажнились слезами.

— Клянусь терпеть и бороться до конца! Клянусь и тебе, чудная женщина, посвятить жизнь твоим детям, если ты укажешь мне путь к ним, — громко произнес Зенин.

Глаза матери смягчились; рука крепко прижала к его губам кипарисовый крест, и комната погрузилась во мрак...

До слуха Зенина ясно долетали слова Псалтыря: «К тебе прибегаю, Боже мой, Ты моя защита, крепость и помощь».

Упал револьвер на устланный обрывками бумаги пол. Как безумный, бросился Зенин в соседнюю комнату. Сладко дремлют в углу три старушки, добровольные караульщицы. Истоиво крестится перед аналоем монахиня, отвешивая глубокие поклоны. Потрескивают, мигают восковые свечи, а на столе вытянулась и застыла в мертвом покое его мать.

— Мама, — бросился к ней Зенин.

Что это? Черты лица совершенно изменили выражение, и вместо строгой важности в них разлилось безграничное спокойствие. Вокруг рта легла мягкая складка; вот-вот сложатся в улыбку губы, подымутся ресницы и блеснут любовью глаза. Слезы благодарности полились из глаз Зенина.

Припал, как когда-то в детстве, к ее груди и порывисто шепчет:

— Сдержу свою клятву, а ты не бросай меня одного на земле, помоги, помоги!..

Подогнулись колени, упал у подножья катафалка, молится, плачет... Спят по-прежнему в углу старушки... Монахиня тихо вышла...

Глава XIV

Набат

В глубокий сон погружено село Красное. Нарботались все: страдная пора. На высоком пригорке белая церковь возносит к небу позолоченный крест.

У самой церковной ограды дом священника, напротив сторожка, где давно уже живет церковный сторож Михеич.

Стар он; трудно ему уже взбираться на колокольню; пора бы на покой, да жаль расстаться с церковью. Жаль и колокольни, с которою сроднился за полусотню лет службы.

Каждый колокол для него что любимый ребенок; звонить-то ведь тоже надо умеючи. В большой колокол сразу и не ударишь. Долго надо его раскачивать, пока рука к равномерному движению привыкнет, а потом твердый, но не резкий удар и плавно отводи руку — в другой край ударяй. Тогда и поплывут медленно важные звуки баса; в них осторожно введи альт среднего колокола и потом выпусти мелюзгу — дисканта. И запоют они хвалу Создателю, а ты стоишь под ними и не знаешь, на земле ты или на небе.

Ноги и руки дрожать и ныть перестают; с плеч годков десятка два скатится.

— А виды оттуда!

Господи Батюшка, красоты какие Ты раскидал по свету. Живи, человече, пользуйся, да благословляй Пославшего.

Ан, нет! Враждуют, завидуют, жадничают! Живой человек все о завтрашнем дне думает; а того не видит, что,

ложась спать, не знает, с чем завтра встанет, а то и встанет ли?

Так шепчет Михеич, сидя под окном сторожки на лавочке. Он до света не ложится спать; сторожить надо церковь от лихого человека. Захрипели, застонали в сторожке часы — возрастом ровесники Михеичу, еще старым батюшкой ему подарены. Набрались силы, двенадцать ударов пробили.

Сторож встал, на палку-клюку оперся; побрел к паперти; надо и ему с колокольни православному люду полночь возвестить. Взошел на паперть, за веревку взялся, вот собрался первый раз ударить, да на лес взглянул, что от села деревню Пестровку отделяет, и замерла рука.

Что это, Господи?!

Над лесом край неба в алый цвет окрасился. Заре еще рано быть, да и не таким цветом она начинается.

А тут, на-ка! То ярко-широко красный цвет разольется, то точно колыхнется, уменьшится. Уж не горит ли что? Батюшку разбудить? Нет, пожалуй, зря человека напугаешь! Нащупал в кармане ключ от колокольни, оттолкнул отпертую дверь; уверенно по лестнице поднимается. Тут свет ему не нужен; на память каждую ступеньку знает. Взобрался. Лес-то внизу остался, а за ним Пестровка, как на ладони, видна. Вся почти огнем освещена, а люди спят.

— Царица Небесная, Заступница! Живьем сгорят, не проснутся.

Привычной рукой нащупал веревку от большого колокола, размахал его и начал бить по одному краю.

Воздух прорезал густой тревожный крик колокола: «Бум-бум-бум-бум», — зачастил великан... Нарочно его выбрал Михеич.

До Пестровки и трех верст нет; звон там всегда слышен, а по тихому ночному воздуху, да еще с ветром и подавно.

— С ветром!

Тут только ему вся серьезность опасности представилась... Нагоняя друг друга, плывут, частят удары набата. Сейчас всполошится спящий люд.

Первым проснулся батюшка.

Со сна подумал: «Выстарелся совершенно мой Михеич». Вдруг заколотилось сердце, — совершенно проснувшись, бат узнал. Толкнул окно. Распахнувшаяся ставня открыла перед ним половину неба, ярким заревом охваченную.

Тревожные звуки плывут и плывут. Окна захлопали, калитки открылись, улица испуганным народом наполнилась. Бестолково спуют, мечутся по селу.

— Пестровка горит! Скорей, братцы, на помощь! В такой ветер и сушь вся деревня сгорит, — покрыл шум сильный голос батюшки. — Запрягай коней в бочки! Машину скорей!

Оборвался у него голос... Вспомнил, что пожарный рукав в полную негодность давно уже пришел, а привезти из города новый мужички все никак не удосужились; хотя на сходках не раз об этом галдели, но все более важные нужды находились.

— Мерзавцы проклятые, — несется с другого конца села зычный крик урядника, — я из вас, сукиных детей, ремней надеру, в Сибири сгною!

У самого пожарного сарая, стоявшие на солнце порожние бочки рассохлись, воды не держат. А зарево все больше и больше небо охватывает. В Красном светло, как днем, а что же в Пестровке!

В Пестровке — ад! — Загорелся овин у Степана. Сухая крытая соломой постройка загорелась, как свеча. Ветер подхватил и разбросал по соседним крышам искры и даже малые головешки. Деревня запылала разом в нескольких местах. Раздуваемое ветром пламя шумело, как расходившееся огненное море; перекидываясь с одной стороны улицы на другую, охватывая новые дома, широкой волной лилось к лесу. Вот лизнуло ближайшую низкую ветку. Затрещали иглы, побежали светло-красные струйки все выше и выше; перекинулись на другое дерево, посыпались искры на сухостой и валежник, и затрещал, загудел загоревшийся лес.

Несчастливая Пестровка не только горит сама, но еще оказалась с трех сторон охваченной огненным поясом.

Люди, вернее, закопченные тени, бестолково мечутся из стороны в сторону. Нестройный крик, гомон людей, ржание лошадей, мычание запертых коров, блеяние глупых, кидающихся в огонь овец, гул и треск пожара слились в жуткий аккорд. Обезумевшие бабы бросались в горящие дворы за забытыми грудными ребятами, то за рвущимися в огонь овцами, то за забытой кормилицей-коровой. От жара, дыма и гари нечем дышать. Спасенное с риском для жизни имущество дымится без помощи...

В ближайшем селе Красном не до них.

Горящий лес грозит им самим нешуточной опасностью.

Головни, как черные птицы с огненными хвостами, летают над головами; жуткие удары набата рвут воздух.

Через каких-нибудь два-три часа от несчастной Пестровки не осталось и следа. Черные трубы да обгорелые столбы только и отмечают места былых домов.

Глава XV

Погорельцы

Ласковое утреннее солнце обогрело жалкую группу бывших обитателей Петровки. Измученные, перепуганные ребяташки притихли, прикорнув на кое-какой спасенной рухляди. Мужики молча, упорно переглядывались; опомнившиеся бабы считали стариков и ребяташек.

— Бабоньки ж вы, мои милые, — мамонька моя родная погорела, — дикий вопль огласил пожарище. И растрепанная молодая бабенка кинулась к грудe углей, оставшихся от ее хаты.

Тут только бабы заметили, что нет старой Матрены, что уж год целый лежала без ног.

— Погодь, Аграфена, — бросился за бабенкой ее муж, но поздно.

Бедняжка уж разгребает не погасшие еще головешки и угли, не чувствуя жестоких ожогов рук и не замечая тлею-

щего платья; подоспевшие мужики раскидали балки и кирпичи обрушившейся печи, обнаружив останки Матрены.

Обеспамятевшую Аграфену оттащили подальше от трупа. Притихли окружающие ее бабы.

Как-то стыдно стало причитать и плакать о коровах и овцах рядом с трупом бедной, кроткой, всеми забытой старухи.

На сходке порешили всем мужикам идти на заработки, бабам с ребятами выдали свидетельства на право собирать на погорелое и потянулась из села длинная вереница бесприютных людей. В числе последних была и жена каторжника Власа — Ариша с десятилетним сыном Васюткой. Степенным шагом выступает он рядом с матерью. В руках гладко оструганная палка, за плечами котомка с жалкой одеждой. Мать ничего не несет; на ней только пустая сумка для подаваний.

Скорее бы отойти от знакомых мест, среди чужих людей легче, все забудется. И вдруг мальчика осенила мысль.

— Мамка, — несмело окликнул мальчуган.

— Что, касатик что родной!

— А там, в городе, будут меня кликать «каторжником»?

— Нет, дитятко, там никому не ведомо, что твой батя в каторге!

— Ты говорила, что его сослали на пять лет, а где ж он теперь?

— Батюшка сказывал, что потом их определяют на поселение, а може, и помер,— добавила она тихо.

Васютка замолчал, а в душу заползла радость и благодарность пожару. Наболело ему быть «каторжником» и слышать при каждой стычке с мальчишками попрек батюшкой-убийцем.

.

Несколько дней шли проселочными дорогами, где в деревнях их расспрашивали, жалели, давали хлеба, молока, пускали на ночлег.

Шли медленно. Берегла мать непривычного к ходьбе мальчугана.

Сегодня Васютка нервничает. Мать говорила, что к вечеру будут в городе, да и не в каком-нибудь маленьком, а в Москве. Там найдут как-нибудь Ивана Беспалого, который в большие люди вышел; старшим дворником у купцов богатых служит! — Мамке он сродственником приходится; так, авось, не оставить своими милостями.

Озабоченная Арина даже про усталость забыла; гложет ее мысль, что-то ждет их там в Москве? Не пропасть бы! Часто ощупывает на груди холщевый мешочек, где у нее спрятан адрес Ивана и трешница да два пятака — весь капитал, что остался у матери с сыном.

Верст за двадцать от Москвы резко изменилась картина дороги; вчера еще малолюдная, — сегодня полна движения: идут, едут, спешат... И чего, чего только не несут и не везут...

— Мамка, неужели это все съедят!

— Знамо, съедят, сыночек, — город большой, людный...

— Глянь-ка, в каких жбанах железных молоко тащат... А моркви, а огурцов — воза! — дивится Васютка.

Не заметил Васютка, как солнце зашло и сумерки надвинулись.

— Васютка, — трясет его за плечо мать, — как мы по Москве ночью ходить будем? Сойдем-ка в сторону, да и прикорнем до рассвета в кустах!

Как автомат, идет за ней Вася. Послушно лег на траву, только от хлеба отказался, — не до еды...

Чуть не до рассвета не мог уснуть мальчуган; зато заснул же потом крепко, не слышал поднявшегося с зарей шума и гомона, не видел восхода солнца, а проснулся только от снопа горячих лучей, которые ударили ему прямо в лицо

Над ним сидела мать; не будила его, видела, что мальчик с вечера сам не свой от новых впечатлений.

— Что, сыночек, поотдохнул маленько?

— Добре выспался, мамка; пойдем скорее в Москву!

— А ты поднимись на горку; ее, матушку, всю как на ладони оттуда увидишь!

Васютка даже до конца слов матери не дослушал; одним духом на горку влетел и замер...

У ног его, залитая ранним солнцем, во всю ширь развернулась Белокаменная... Дома-великаны погружены еще в сон. На улицах нет движения. Сады, как оазисы, раскиданы между домами. Зеленая лента бульваров окружила центр города. Серебром отливает широкая река; по ней ползут букашки-пароходы, и над всем этим ослепительно горят золотые главы ее сорока сороков.

— Ах, и хороша же ты, родная хлебосольная матушка-Москва! захватит дух и не у такого Васютки.

Насилу оторвала Арина мальчугана от захватившей его картины.

Как чумной спустился с горы, без мысли вошел через Калужскую заставу, и... не узнал только что виденной феерии в пыльных улицах предместья...

Глава XVI

Роковая встреча

Устроилась понемногу в Москве васюткина мать. Не думает уж о возвращении в родную Пестровку.

Да и не диво; к чему бы она туда вернулась?— погорела дотла.

Здесь, хотя и живет в сыром углу, отделенная только ситцевой занавеской от пьяного сквернословия-точильщика, который к тому же нещадно, смертельным боем бьет свою жену под гогот остальных угловых жильцов подвальной комнаты.

Бессильно страдает тогда ее сердце, но чем же она может помочь?

— Заступиться? Сунься, попробуй! Саму избьет так, что дня три головы не поднимешь, а у нее работа тяжелая, стирает белье в прачечной.

Ну и ограничивается тем, что сожмется в своем углу в комочек и молится за бедную Феклу, а себя в это время такой ли счастливой считает, что уж как Господа благодарить не ведает.

Угомонится, заснет пьяница, выходит тогда она из своего угла, обмоет избитую голову Феклы, обвяжет ее намоченной чистой тряпочкой, поднесет водицы к запекшимся губам страдальцы, заберет к себе и накормит ее насмерть перепутанных ребятишек. «Подвал» зовет ее за это сестрой милосердия, а Фекла ангелом, которого ей по милости своей Мать Божия послала, и дрожит от страха при одной мысли, что та из своего угла выедет.

Арина много раз уж говорила хозяйке, что съедет, если она пьяного окорачивать не станет; но в душе сознавала, что не бросит она ни бедной Феклы, ни ее ребят, жалея их и крепко веря, что за эту жалость ей и помогает Господь.

— И в Евангелии сказано, — повторяла она постоянно, — «возлюбите малых сих, ибо их есть царствие небесное».

Строго придерживалась Арина этого наставления, понимая его буквально, и казалось ей, что за эти ее заботы о несчастных детках Феклы она получила видимую помощь своему Васютке.

До получения места в прачечной, она по рекомендации родственника-дворника ходила на поденную работу по домам мыть полы, а то и бельешко постирать.

Так занесла ее судьба к одному пиротехнику. Хороший, ласковый барин. Увидал как-то пришедшего к матери Васю, разговорился с ним, узнал что Вася первым учеником сельскую школу окончил, а теперь по улицам бегаёт, газеты продает, и что на каждую книжку в витрине у него глаза горят. Предложил ему поступить к себе в лабораторию мальчиком для услуг, а по вечерам обещал учить его по-немногу.

Бухнула ему в ноги Арина, счастливыми слезами заблестели глаза у Василия. Так и живет теперь у доброго ба-

рина. Уж который год живет. Одет так чистенько, беленький, хорошенький такой стал, что узнать нельзя.

Хозяин им не нахвалится, по ученой части, вишь, больно способен, да за усердие и любовь к делу хвалит. Говорить, что через годик-два правой рукой его станет.

И теперь уж свою горенку имеет, жалованье получает, за одним столом с хозяином ест. Все мать уговаривает к себе перейти; будет, говорит, по сырым подвалам ютиться, с утра до вечера над чужим бельем спину гнуть. Только она об этом и слышать не хочет. Пусть лишнюю копейку себе сынок на черный день отложит, а она, слава Богу, сыта, да и Феклу жаль бросить; пропадет, мол, без меня... Да и ей самой не за что будет тогда ждать от Господа счастья, а чем же другим милость его заслужить может? Поищет глазами закоптелую икону и шепчет: «Пошли, Господи, Васютке моему хорошую долю; не отступишь от него, а я всем довольна, Господи Батюшка!»

* * *

Вот уже целую неделю стоит Арина на легкой работе.

Захворала племянница хозяйкина, которая обычно разносила белье клиентам; за старательность и за честность эту обязанность пока поручили Арине

Одежонка чистая у нее есть, вот и прогуливается она по городу из конца в конец. Правду сказать, корзинка маленько тяжеловата, да на дальнее расстояние ей на трамвай полагается, а поближе — ничего, донесет и так.

Сегодня вышла она с корзиной; день такой погожий, весенний; весь народ на улицу высыпал. Арина корзину хорошо бумагой укрыла, а то господа резиновыми шинами больно далеко грязь разбрызгивают, идет, не спешит, дорогу добрым людям уступает. Вот в одном месте затор, на какую-то вывеску люди любуются; а тут важный такой барин на автомобиле у тротуара остановился, с другим разговаривает.

Остановилась, прижалась к тумбе и Арина. Из пустого любопытства на барина, что так важно подъехал, взглянула и обмерла... Как только корзину не выронила; да что корзина, как жива осталась!

В автомобиле, развалясь, сидит ее Влас! Его и лицо, и глаза, и правая бровь рассеченная его, и привычка левый глаз при разговоре чуть прищуривать.

Нет сомнений — он!

Только было хотела людей растолкать, к нему кинуться, об Васютке рассказать, а он рукой махнул, машина покатилась; только она Власа и видела. Чуть в голос не взвыла баба от горя. Догадалась за барином кинуться, с которым Влас разговаривал.

Догнала его, за рукав ухватилась, плачет, просит сказать, где барин тот живет, что с ним разговаривал, на машине уехал.

В первый момент господин брезгливо сбросил с рукава вцепившуюся в него бабью руку, потом взгляделся в ее доброе изможденное лицо, и жаль ему ее стало.

— Для чего тебе знать, где он живет, и что у тебя за дело к нему?

Захлебнулась баба, выговорить не может, сквозь плач бессвязно лепечет...

— Ничего... видит царица Небесная... только, значит, Васютка у нас... Барин хвалит... к учению рвется... Допомог бы... Я, пусть Бог убьет, ничего не хочу!

Разобрал только одно остановленный господин, что какой-то способный Васютка рвется к учению и не имеет средств. Вспомнил о широкой благотворительности Потехина и решил сделать добро этому неизвестному Васютке.

Ласково улыбнувшись бабе, вынул свою визитную карточку, написал на ней, что очень просит помочь подательнице и, растолковав, где находится контора говорившего с ним миллионера Потехина, сказал, в какие часы он там бывает, и научил, чтобы она ничего не объясняла швейцару, только бы отдала для передачи барину эту карточку, и он ручается, что она будет принята.

Хотела было Арина бухнуть в ноги, да господин удержал ее от этого и быстро смешался с толпой.

* * *

Не помнила Арина, как разнесла белье, как вернулась домой. Руки и ноги были холодны, как лед, голова горела огнем. Все в подвале заметили, что с ней творится что-то неладное, и каждый по-своему спешит выразить ей свое сочувствие. Даже квартирная хозяйка, прозванная мегерой, принесла ей кружку чаю да ломоть ситного. Невиданный это был случай в подвале.

Едва она вышла, первым нарушил молчание печник, пропивавший заработок до последней копейки и, несмотря на вечную нужду, бывший всегда веселым.

— Ай да мегера, братцы! Аж я икнул, слюнями подавившись. Лопни моя утроба, от нее не ждал. С ситным разъехалась. Ах, мать твою так...

— Не сквернословь, Дмитрий, на всякого человека находит просветление, а ситничку еще как Феклины ребятишки обрадуются! — разламывая пополам кусок ситного, с трудом поднялась с койки Арина.

— А ты того, не расхворайся, — утрюмо сказал только вчера чуть не до смерти избивший жену Егор и как-то несмело добавил: — Может, сбегать по Васютку, так мы, значит, мигом; живым манером!

Поднялся с своей койки старьевщик-татарин, порывлся в сумочке, достал со дна три слипшихся леденца и молча положил рядом с кружкой чаю.

Капают слезы у чуть живой Феклы. Посмотрела на нее Арина, да и сама чуть не расплакалась, — так тронуло ее общее внимание.

— Что это, Господи Батюшка! Как вы за мной, дурной, все ухаживаете. Какие же вы все добрые да хорошие. Приведи Бог всякому посреди вас жить да умереть. Васютку не

надо беспокоить; он и сам придет. А я погреюсь чайком и засну.

Выпила Арина чай, истово-усердно помолилась и легла на койку лицом к стене. Но уснуть до самого рассвета ей не удалось.

Мысли, как черные мухи...

.

К утру созрело решение рассказать все Васютке и, отпросивши на следующий день его у хозяина, вместе пойти к отцу.

Долго тянулось для нее время до девяти, когда пришел Василий. Вошел он такой чистенький, опрятный, с узелком гостинцев в руках для своей дорогой матери, самоотверженную любовь которой глубоко понимал и ценил.

— Ну, мил человек, — встретил его Дмитрий, — мы уж вчера думали, что твоя маменька побывшится; пришла точно мертвец; насилу до койки добралась.

— Что с тобою, мама родная? — бросился к ней Вася, только сейчас заметив, что мать изменилась до неузнаваемости. Лицо вытянулось, глаза смотрели строго-сурово. От выпрямившейся ее фигуры веет непоколебимой решимостью.

— Ничего, сыночек, не пугайся. Это меня новость одна ошеломила. Со вчерашнего дня твоя судьба изменилась, а с завтрашнего по другим рельсам твоя жизнь покатит.

Степенно встала Арина, взялась было за огромный чайник, из которого Вася каждый праздник угощал чаем всех жильцов, да Дмитрий перехватил его у нее и мигом вернулся с кипятком обратно.

Вася разложил на столе чай, сахар, баранки, булки, воблу и началось обычное чаепитие.

Пили долго, не торопясь.

Потом Арина помолилась Богу, благословила своего Васютку и начала свое безыскусственное повествование.

Смертельно бледный Вася слушал мать с широко раскрытыми немигающими глазами; все остальные, усевшись в кружок, затаили дыхание.

Кончила Арина, а гробовое молчание не прекращалось. В опущенной голове Васи мысли вихрем неслись. Остальные слушатели уловили только один момент и никак не могли его переварить: много лет жила с ними бок о бок хорошая правдивая женщина, но все же она была «свой брат», сначала поденщица, потом прачка, и вдруг: муж — большой барин, — говорит, миллионер.

Первым нарушил молчание Вася.

— Ты говоришь, мама, что отца сослали только на пять лет в каторгу, а мне в то время не было и года?

— Где год, дитяtko, ты родился круг крещения, а отца сослали, и Покрова еще не было!

— Теперь мне двадцать лет; из Пестровки, когда мы ушли, мне было одиннадцать; где же он был столько времени, что не дал о себе вести? Говоришь, на автомобиле своем катается, а что же не захотел узнать, есть ли его сыну на чем в поле выехать? Эх, мама, как нам, хоть скромно, но хорошо жилось! Дай Бог, чтобы ты ошиблась и этот человек не оказался моим отцом!

— Что ты, что ты, — загалдели на него со всех сторон. — От отца-миллионщика да чураешься. Ну нет, шалишь! Если он об Васе досель позабыл, так ему и напомнить можно. Вот вы с Ариной как придете к нему, так пускай-ка он жену да сына выгонит. Не то что вас, он и нас глядит-кось, как оделит. Небось, никто забыт не будет!..

Весь день и вечер гудел подвал.

Егор сбегал за бутылкой очищенной, и все выпили за завтрашнее общее благополучие. Один Вася сидел хмурый-хмурый. Вечером крепко поцеловал мать и молча вышел.

За ним деловито собрался Дмитрий.

— Куда? — спросил его Егор.

— Паренек что-то пасмурный ушел; надо издали проводить, кабы под трамвай не угодил в своих мыслях-то!

Молчаливым взглядом поблагодарила его Арина.

Сегодня, несмотря на праздник, все жильцы были трезвы и улеглись рано. Долго не спали, все ждали многообещающего «завтра»!

Глава XVII

Тени прошлого

Кипит работа в конторе миллионной фирмы «Потехин и Сын».

Надоедливо щелкают счеты, шуршат перелистываемые книги, трещат пишущие машины, снуют деловито служащие. У подъезда солидный швейцар.

Неустанно бегают от него и к нему мальчик-подросток, вся обязанность которого состоит в том, чтобы принимать и разносить передаваемую швейцаром корреспонденцию, визитные карточки посетителей и т. п. У подъезда извозчики, автомобили, пешеходы. Среди последних Арина. Василий наотрез отказался идти с ней и остался ждать результатов ее похода у нее в подвале. Несмело подошла она к дубовой двери, с усилием открыла ее, вошла.

Важный швейцар не шевельнулся помочь и открыл уже рот, чтобы хорошенько ругнуть бабу за дерзость лезть куда не следует, но, взглянув на почтительно протянутую визитную карточку, прочел: «Тайный советник Анатолий Петрович Охлестышев». Изменив грозный взгляд на снисходительный, кивнул ей на один из стоявших у стены стульев и бросил: «Погоди».

Время ожидания не показалось Арине слишком долгим. Простодушная женщина загляделась сначала на медали, украшавшие грудь швейцара, потом на снующих перед глазами людей, на работавших за стеклянной дверью конторских служащих, искренне подивилась быстроте, с которой мелькали руки по счетам и по диковинной щелкающей машинке. Далека она была от мысли, что если владелец всего этого ее муж, то и ей не место в швейцарской.

Вдруг поразила ее медленно сходявшая по лестнице полная, важная дама, которую заботливо поддерживал под руку юный цветущий студент.

Едва завидевший их швейцар вытянулся в струнку и низко поклонился, широко распахнув двери.

К подъезду подкатил автомобиль; швейцар услужливо посадил даму и студента и вновь набрался важности, только вернувшись на свое место.

— Позвольте полюбопытствовать, что это за важная дама изволила уехать? — вежливо вставши перед швейцаром, спросила Арина.

— Хозяйка с сыном, — был брошен ответ.

В это время стремглав вбежал мальчик, выкрикивая:

— От Охлестышева кто тут?

— Эй ты, поторапливайся, а то еще и не примут, — махнул швейцар рукой Арине.

Быстро бежит по покрытой ковром лестнице юный курьер; за ним едва поспевает Арина.

Распахнулись и закрылись за нею двери. Совершенно остолбенела Арина от невиданной ею никогда богатой обстановки.

Снисходительно, терпеливо смотрел на нее Потехин.

Без предварительного стука в дверь с шумом ворвался юный студент, на лету бросил фразу, что мама забыла на столе перчатки и сумочку с деньгами, поцеловал руку отца и стремительно вышел.

Безгранично любящим взглядом проводил его Потехин и размягчилось его сердце к просительнице, рекомендованной нужным человеком.

Охлестышев просит помочь ее сыну. В добрую минуту баба пришла; во имя своего сына, помогу сыну ее!

— Ну, с чем пришла, моя милая? — ласково обратился он к скромно стоявшей у порога просительнице.

Его голос и привычное когда-то ей обращение окончательно довершили сходство, и с воплем:

— Власушка, родимый! Привел Господь свидеться, — бросилась она ему в ноги.

— Арина, — рванулся было вдруг узнавший ее тоже Потехин и тут же остановился.

Заливаясь слезами, Арина целовала его руки и восторженно говорила о Васютке.

С бешеной быстрой летят мысли. У его ног законная жена говорит о первенце-сыне, о котором он когда-то безумно тосковал. Одета она так плохо: очевидно, нуждается с Васюткой, а у него денег хоть отбавляй; купается в золоте второй сын Сергей...

Невольно задрожал при этом имени. Растил, как принца, приучал к мысли, что его жизнь на земле — сплошной рай.

Юноша привык высоко держать голову и вдруг... незаконный сын!.. Да еще не уважаемого всеми миллионера Потехина, а беглого каторжника Власа Корунова.

Мавра Ильинишна, единственная дочь приютившего его хуторянина, властная хозяйка богатейшего особняка, обожающая нашего Сережу, всего только любовница того же беглого каторжника Власа Корунова.

Тяжелый стон вырвался из груди Потехина. С помертвелою лица неприязненно глядят остановившиеся глаза, рука резко отталкивает припавшую к ногам Аришу.

Видит несчастная, что ее приход не обрадовал мужа.

В мозгу кровавой нитью прошли только теперь понятые слова швейцара: «Хозяйка с сыном».

— Так вот что!

Встала и гордо выпрямилась... На Ипполита-Власа жестоко взглянули когда-то любимые лучистые глаза.

— Так ты от живой жены и сына, — бросила было она тяжелую обвиняющую фразу и вдруг осеклась...

Сын... Вася.

На какую жертву, на какую пытку не пойдет она для него!

А у него ведь тоже сын! Ведь и он за сына отдаст жизнь. Она видела, как он смотрел на него... Для чего я взбудоражила, всколыхнула несбыточным сном душу Васютки? Медленно подогнулись ноги; снова упала на колени. Но это уже не страстно бросившаяся к ногам заживо потерянного и неожиданно найденного мужа, безумно обрадованная жен-

щина, нет! На коленях стоит бестелесное существо.. Все земное ушло далеко, а дух, что в грешное тело вдохнул при рождении Бог, сложил к ногам каторжника все желания и чувства своей земной оболочки.

— Влас, — долетел до Потехина голос тихий, как шелест ветерка, — я умру для тебя и для людей... Завтра же уйду далеко, постригусь в монастырь, никогда не увижу больше нашего сына. Только помоги ему; выведи в люди...

Сердце Потехина раздвоилось и молотом бьется в груди. Губы беззвучно шевелятся.

— Ариша, моя жена, моя первая любовь, величайшая радость и нестерпимая боль моей души. Мать первенца-сына. Брошенный мною одинокий Васютка, прости! От всего отрекается, все прощает моя кроткая любящая Ариша, целует ноги двойного преступника.

Проплыл перед глазами мученически убитый Григорий, глухо-укоризненно прошумела в ушах тайга. Но там кровавый туман застлал ему рассудок. Здесь? От жены и сына отрекся сознательно. Замолить, загладить грех... искупить вину!..

Протянул руки, на губах дрожит мольба о прощении. Острым ядовитым жалом вонзается мысль: а вдруг лжет? Да если и не лжет, пожелает ли Василий удовлетвориться милостыней, когда имеет право на все. А бесследное исчезновение матери? — простит ли его, примирится ли ради денег? Если бы он еще ничего не знал! Но он знает, конечно, он знает. Нет, Влас умер, так лучше! Держись же, Ипполит Потехин!

С стремительностью безумца опустил тяжелую руку на кнопку электрического звонка, тревожной непрерывной трелью ворвавшегося в сосредоточенное молчание комнаты. Властным громким голосом отдал распоряжение вбежавшему растерянному служащему:

— Выбросить вон сумасшедшую бабу, да так, чтобы она навек путь в контору забыла!

Так страшен был вид хозяина, такой властью звучали слова, что конторщик, забывая, что это не входит совсем в круг его обязанностей, вытолкнул Арину в коридор.

Там присоединились курьер со швейцаром, ну, и поусердствовали, довольные показать свою силу. Не успела привстать бедная Арина, как уж кубарем снова катилась по лестницам, чуть ли не лбом растворила тяжелую дверь и, вся избитая, оборванная, упала на грязную улицу. Здесь ее за шиворот поднял услужливый городской и здоровым пинком отшвырнул от подъезда.

* * *

А в подвале в это время сдержанно ликовали. Вот-вот придет миллионщик обделять их деньгами за прежнее дружное житье с Ариной.

Приоделись, прибрали насколько возможно было углы, ждут. Ни один не пошел на работу в этот торжественный день. Для чего она? Вот-вот загудит рожок, мягко подкатит автомобиль и на ковре-самолете улетят они из сырого подвала на вольную жизнь.

Один Василий, подавленный неясным предчувствием какой-то большой беды, не шевелясь лежит на кровати матери.

Бегут минуты; напряженнее становится ожидание заветного автомобиля.

Но вот открываются двери; еле держащаяся на ногах, оборванная, до крови избитая входит Арина.

Рассеялись мечты, тяжелая явь поползла из углов.

Едва дотянувшаяся до кровати Арина уже больше не встала.

Глава XVIII

Смерть в подвале

Семь выбитых, скользких, облитых помоями ступенек ведут в подвальную квартиру Степаниды Егоровой Акулькиной, или попросту «мегеры».

Уже на первой ступеньке каждого свежего человека обдавало букетом всевозможных запахов: тут пахло щами, помойными ведрами, гниющими в углах сеней отбросами.

Открывалась дверь, и вас обдавало клубами пара отстиравшихся и тут же сушившихся прелых опорок, облаками махорки, водочным перегаром и миазмами скученных, неопрятных тел. В этой тяжелой, густой атмосфере висели пьяные песни, дикий гогот, завывание гармоники, тлиньканье балалайки, детский плач, крик боли, вопли о помощи, и все это покрывалось отборнейшей неповторимой брашню.

Это первая общая комната, рассчитанная на 10-12 человек и вмещающая до 20-ти и выше; за ней подобие темной кухни, а дальше комната подвальной аристократии, «угольных жильцов».

Небольшая комната, освещаемая одним, ниже тротуара находящимся окном, разделена на четыре угла.

На первой от двери койке помещается известный нам Дмитрий; его vis-à-vis — старьевщик-татарин; с правой стороны окна за красной рваной занавеской помещается семья вечно пьяного Егора, а против него, за чистой темной в крупных букетах ситцевой занавеской, в настоящий момент отдернутой, кровать Арины. Стол и два крашеных табурета дополняли обстановку ее угла. На кровати вытянутое тело. Жизнь в нем еле теплится, зато в глазах видна упорная мысль.

В этой комнате — тишина. Сегодня опять никто из ее обитателей не пошел на работу. Сидят по своим углам, стараясь не произвести даже шороха.

Пять дней пролежавшая без памяти Арина сегодня готовится предстать на суд Бога; утром после глухой исповеди священник дал ей Святое Причастие. Глухая исповедь! Да на что она была этой чистой душе, вся жизнь которой — кротость и любовь к ближнему и самоотвержение. Непонятно было ее окружающим, у кого поднялась рука так избить эту праведницу.

В глубокой тишине благоговейно следят все за последними вспышками ее жизни. Пригорюнившаяся Фекла сидит на одной из табуреток и не успевает вытирать горьких слез. Прижавшийся к ее коленям трехлетний сынишка тоже, не спуская глаз, смотрит на тетю Арину, заступницу матери и неустанную баловницу его и его старшей сестрицы.

У самого изголовья кровати на коленях стоит Вася. В душе у него ад с самого прихода беспамятной полуистерзанной матери. Она не сказала ему ни слова, но бредила, бедная, всю первую ночь.

Умилялась тем, что муж признал ее, свою Аришу, вспоминала его юного, красивого, как херувимчик, сына; говорила о решении уйти и постричься в далекий монастырь, чтобы не мутить собой столько чужих жизней, молила мужа за своего Васю.

— Вася, мой Вася, — вырывались стоны из больной груди.

И этот Вася, вслушиваясь в бред, почти шаг за шагом восстановил картину свидания матери с отцом.

— Так вот ты каков, мой миллионер-отец. Вот за кого столько лет моя детская душа терзалась, изнемогала под презрительной кличкой каторжанина. Вот за кого, складывая непослушные маленькие пальчики, учила меня молиться мать. Вот чью память потом упорно читала сама и заставляла чтить меня, как нечаянного грешника, мученика. О, отец, велики наши счеты. Но все это я еще, быть может, смог бы простить, если бы не поругание, не убийство моей матери. Ведь это была единая моя радость. Я был так счастлив, так богат ее неземной любовью. Позавидовал? Отнял и это у своего первенца? Так будьте же прокляты, ты —

вместе с своим сыном! И берегись, не спи крепко. В твоём первенце имеешь отныне врага лютого, неизбывного... Прощай, мой ангел-хранитель, прощай, пестунья, баловница и единая радость моих печальных детских лет!..

Хотел припасть к её ещё теплым устам и встретился с сознательным молящим взглядом.

— Мама, родная! Что?!

Приник ухом к холодеющим губам.

— Пр... — прозвучал еле слышный, отдаленный глухой звук.

Что хотела сказать умирающая? прости или прощай? Глаза её удивленно раскрылись, тело вздрогнуло и вытянулось.

Бедная Фекла заголосила; ей бессознательно завторили дети. Встали, крестясь, Дмитрий с Егором. Скрестил на коврике ноги и стал молиться по-своему татарин.

Упал на труп бездыханной матери почти потерявший сознание Вася.

* * *

Прощальным перезвоном встретила кладбищенская церковь скромный кортеж.

Обитый темной парчой гроб несли на руках одетые в тряпье и опорки жильцы «мегеры».

За гробом, поддерживаемый престарелым, но хорошо известным москвичам, магом-пиротехником Граубе шел убитый горем Вася. Вела за руки ребят безутешная Фекла, и ехал пустой катафалк. На гробе два огромных венка: от сына и его друга-покровителя Граубе.

Опустили гроб у зияющей глиняной ямы и на немой умоляющий взгляд Васи старичок-священник дал знак поднять крышку... Наступило последнее, вечное прощание. Без слез, без звука припал с поцелуем к рукам матери Вася.

Жадным взглядом смотрит на мертвое лицо, стараясь запечатлеть в памяти дорогие черты.

Затихло все... Не дыша, притаились люди. Умолкли, казалось, даже щебетавшие птицы.

Молодым, упругим движением поднялся Вася.

— Закрывай, — твердо, решительно прозвучал его голос.

Если этот звук его голоса слышала мертвая мать, то бесспорно узнала в нем грозные нотки прощальных слов своего мужа, в жестокой мести которому над ее трупом, у разверстой могилы поклялся сейчас ее сын.

Задевая за стенки узкой ямы, с шелестом обсыпавшейся земли опустился гроб. Крестообразно посыпал первую землю священник. Каждый из провожавших Аришу друзей бросил прощальную горсточку. Вася взял из рук могильщика заступ, сам засыпал землей мать, пока не скрылся последний краешек гроба; тогда, глубоко воткнув в землю заступ, низко поклонился дорогой усопшей и твердым шагом вышел с кладбища...

В этот миг в богатых чертогах Потехина неумолимый перст судьбы начертал страшные слова:

«Mene, Tekel, Fares»¹.

Глава XIX

Рога Вельзевула

Нахмурился, сентябрем смотрит июль месяц. Вот уже пять дней без устали идет холодный дождь. Все дачники зачищали, закашляли, оделись в теплые платья.

Печально выглядят богатые дачи Борок. Всюду однообразно-сырые стены, лужи на дорожках, мокрые, обвисшие обивки террас, грустно поникшие головки цветов. Не из-

¹ См. библейскую историю о пире персидского царя Валтасара и начертанном на стене пророчестве (Дан. 5) (*Прим. изд.*).

бегла общей участи и дача представителя крупной английской акционерной компании лорда Лимингтона Тольвенора.

За стеклянной дверью подъезда сидит скучающий, важный швейцар; время от времени по коридорам и лестницам бесшумно пробежит лакей или прошуршит платьем щегольская, хорошо дрессированная француженка-горничная. Сама вилла всегда выглядит молчаливой, строго-чопорной, а сегодня там еще больше все замерло.

У леди Тольвенор — мигрень.

Дочь Альбиона не может привыкнуть к местному климату и свои туманы решительно предпочитает здешним дождям. В будуаре опущены тяжелые, плотные шторы, непроницаемо сдвинуты портьеры; в комнату не проникает даже шум дождя, и ничто не беспокоит неподвижно лежащую на шезлонге леди Тольвенор.

Внизу, в обширном кабинете лорда, не так мертво. Шторы широко раздвинуты; сквозь венецианское окно и стеклянную дверь террасы слабо льется серый свет. Одну стену кабинета занимает массивный книжный шкаф, по другой — большой кожаный диван, под окном письменный стол и три глубоких кожаных кресла; в глубине камин с креслами по бокам. Его ярко пылающий огонь согревает воздух и своим светом скрашивает пасмурный день. Если бы не монотонный шум дождя, свободно можно было бы забыть об ужасной погоде.

Лорд Тольвенор энергичными шагами ходит по кабинету. Худое, длинное лицо время от времени освещает саркастическая улыбка. Серые, всегда гордо-холодные глаза приняли оттенок стали, брови сдвинулись, две глубокие складки прорезали лоб: лорд что-то глубоко, всесторонне обдумывает. Повсюду на креслах и столах разбросаны газеты.

Легкий стук в дверь прервал его думы.

— Come in!

— Сэр Эдуард Джон Найджел Гордон Карвер, — доложил вытянувшийся на пороге лакей.

— Всегда рад видеть вас, — дружески встретил входящего лорд. — А сегодня — особенно, — значительно под-

черкнул он два последних слова. — Прошу вас прежде всего сюда!

Лорд указал на кресло у покрытого газетами письменного стола.

— Просмотрите внимательно все, что мною отмечено красным карандашом. Отметки сделаны мною исключительно для вас, лично я давно слежу за этим делом и знаю его наизусть!

Пододвинув кресло ближе к окну, Карвер стал проглядывать газеты. Лорд возобновил свою прогулку из угла в угол, и только шелест бумаги нарушал тишину.

— Я бы хотел знать, что вас, собственно, интересует в этом ряде убийств, так тщательно вами подобранных? — удивленно спросил Карвер, покончив с газетами.

— Они все однообразны. Каким-то острым орудием наносится небольшая ранка за ухом и вытягивается кровь. Это, надо думать, реальная сторона; а вот тени на кладбище Покровской общины и высасывание ран — безусловно фантазия, «бабьи сказки», как любят выражаться эти милые ручные медведи-москвичи, — лорд улыбнулся. — Меня интересуют именно «бабьи сказки». По поводу их у нас с вами будет серьезный разговор; поэтому предлагаю занять более уютное место у камина!

Он позвонил и приказал вошедшему лакею подать вино. В глубоком молчании сидели гость и хозяин, пока лакей бесшумно придвинул к ним небольшой круглый столик с вином, бисквитами и принадлежностями для курения.

— Реальная сторона и фантазия, — начал лорд, налив вина в стаканы, — в этом деле так крепко переплелись между собой, что разделить их, провести грань между ними для посредственного ума задача — нелегкая. А умы взволнованы и не только посредственные. Вы видите, здесь самые солидные из русских газет; все они полны этими убийствами и относятся к ним почти... без критики.

— Я вижу, что ваш трезвый британский ум заставляет вас иронически усмехаться при самом сопоставлении «ба-

бых сказок» и серьезной газеты, но вы забываете, в какой стране вы находитесь!

— Цивилизация медленно прививается этим медведям. Открытия в области науки, богатая и ценная литература прекрасно уживаются здесь с лубочными изданиями, сонником, разными заговорами, гаданиями на бобах, на воде или кофейной гуще даже. С этим надо мириться или, еще лучше, широко использовать это в своих выгодах. Это последнее я и предлагаю!

Лорд замолчал, задумчиво разглядывая на свет золотисто-янтарное токайское.

Карвер чуть заметно наклонился вперед, почти неуловимая напряженность появилась во взгляде; ничто более не выдавало его любопытства.

— О положении ваших финансов, — снова на чал лорд, — мы говорить не будем; нам обоим оно прекрасно известно. Что касается моих, то здесь, в тиши кабинета, я должен заявить вам, что они требуют прилива и я не прочь позолотить мой древний герб червонцами милых дикарей. А что вы имеете против подобной перспективы?

— Money is always money, — уклончиво ответил Карвер. Лорд цинически улыбнулся.

— Вот мы и столковались в главном, остаются детали. Если появятся привидения еще в одном-другом месте, найдется два-три лишних трупа, кого это особенно удивит? А полиция и здешние детективы?...

Мы это хорошо видим по прошлогоднему убийству семьи Ромовых, по на шумевшему в этих же Борках взрыву кареты новобрачных Потехиных, по беспрепятственно разгуливающим привидениям и т. п. Не морщьтесь преждевременно, мой друг, я не имею ни малейшего намерения предлагать вам пачкать в крови ваши руки. Я имею людей, которые прекрасно справятся с этой ролью. Вы же будете только любезным хозяином холостых обедов и ужинов, с легкой карточной игрой в тесной компании. Это даст мне возможность принять у вас нужных мне людей в ливрее ли приглашенного для временных услуг лакея или как гостя в безукоризненном фраке или смокинге. Под шелест карт или

звон стаканов я перекинусь с ними фразами приказа или выслушаю доклад. Все пружины дела будут в моих руках, а вы будете только пожинать плоды. Ваше имя младшего сына знатной английской фамилии отгонит от вашей квартиры всякое подозрение!

Теперь настала очередь Карвера померить кабинет с угла на угол. Лорд Тольвенор поставил недопитый стакан на стол, откинувшись на спинку кресла, протянул скрещенные ноги к решетке камина и закрыл глаза. Со стороны могло показаться, что он дремлет, пригретый огнем, но, взглядевшись, можно было уловить холодный блеск глаз из-под полуопущенных век. Нет, не дремлет милорд, вся его фигура похожа скорее на хищника, притаившегося для рокового прыжка. Бедный Карвер! Не будет ли он его первой жертвой?.. Пока же он не переставая ходит по мягкому ковру кабинета, забывши и время, и место, и хозяина.

Лорд терпеливо ждет. Мертвую тишину нарушает только потрескивание дров в камине и дождь за окном. Порыв ветра пробежал по верхушкам деревьев, тряхнул мокрыми ветками, с которых посыпались капли воды; одна из веток, точно предостерегающе, ударила по стеклу окна. Карвер нервно вздрогнул и остановился. В широко открытых мягких и добрых глазах промелькнул испуг.

Взгляд его скользнул по кабинету и остановился на лице неподвижно сидевшего лорда.

...Какая спокойная поза... как сладко, безмятежно дремлет, пригретый огоньком камина... Неужели он был бы так спокоен, если бы грозила малейшая опасность?

... А ведь он будет главой; его громкое имя и обширные связи защитят, а при случае выгородят изо всякой опасности.

...Мне же, действительно, приходится туго: наследственное имущество прожито; кредит почти полностью исчерпан; остались только привычка широко жить и... полная неспособность к труду.

— Я жду, my dear, — неожиданно сказал лорд.

Его спокойная поза не изменилась, только стальные глаза открылись и властно смотрят на Карвера, да губы чуть тронула ироническая улыбка.

— ...Что он — играет мною, как кошка мышью, или смеется только над моей трусливой нерешительностью? — подумал Карвер и спросил:

— Как велика для меня опасность, и в чем она заключается?

— Ни малейшей. Роль же ваша, повторяю, чисто представительная. Не советую колебаться. Ваше имя на эту роль стоит у меня первым только ввиду старой дружбы наших семей и моей личной к вам симпатии. Ну, итак?

Карвер с какой-то безнадежной покорностью склонил перед лордом голову.

В дверь тихо постучали.

— Миледи чувствует себя лучше и изволить просить вас в красную гостиную на five o'clock, — доложил лакей.

— Я всегда был уверен в вашем благоразумии, — сказал лорд, беру под руку Карвера.

Глава XX

В театре

Двойной ряд электрических лампочек, дугой расположенных над подъездом театра «Аквариум», ярко освещает прибывающую публику, которой в этот вечер собралось особенно много. Сегодня — первое выступление в оперетке парижской дивы Мари Перье, о красоте и бесподобной грации которой широко раскричали газеты

Идут и едут не только жители Москвы, но и ближайших дачных окрестностей. Толпа, на миг задержанная проверкой билетов у входа, широкой волной разливается по аллеям сада. На открытой сцене уже выступают вторые силы, назначение которых — заполнить программу первых двух

часов. Здесь тоже, по обычаю, лучшие номера приберегаются к десяти-одиннадцати часам.

Раздался первый звонок; широко раскрывшиеся двери не могут вместить разом хлынувшую недисциплинированную толпу. Жестоко толкается публика только последних рядов партера и ярусов; значительно позже спокойно и важно входят нарядные обладатели лож и кресел первых рядов. Среди них много знакомых между собой лиц.

В первой от сцены ложе — тузы торгового мира: жена многомиллионного кожевника Данилова, полная, высокая брюнетка, блестит тысячью искр, рассыпаемых бриллиантами серег и застежкой огромной ценности жемчужного колье.

Рядом с ней, опершись небрежно о барьер, полуобернувшись спиной к публике, ее муж обсуждает новости биржи со звездой нефтяных промыслов, рябым и сутулым Юрасовым.

Над креслом m-me Даниловой склонился молодой юрист Захаров.

В первом ряду кресел блестит лысина редактора «Искры» Платонова; перед ним, обернувшись спиной к оркестру, его правая рука — фельетонист Львов, высокий, стройный брюнет с подвижным, нервным лицом, осматривает наполняющиеся ложи, называя по именам входящих лиц стоящему с ним рядом следователю Зорину.

— Однако, вы знаете чуть ли не всю Москву?

— Моя профессия заставляет меня знать и наблюдать всех и вся — иначе скоро бы иссякла моя фантазия!

— Помимо фантазии у вас блестящее, но часто жестокое письмо; и не хотел бы я попасть к вам в переделку!

— О, Николай Николаевич, куда страшнее, право, попасть в переделку к вам, чем ко мне, — отпарировал Львов.

— Оставим шутки, я часто восторгаюсь полетом вашей фантазии, задумываясь над вопросом — что нужно вам видеть, чтобы улететь из окружающей действительности, — любезно улыбнулся Зорин, быстро поборов набежавшее было на его лицо облачко неудовольствия.

— Если лира звучит, мы забываем, даже больше, не замечаем окружающего и пустота наполняется лицами и звуками. Вот посмотрите, например, на темную пасть ложи «А», — нервно вздрогнул Львов, — не кажется ли вам, что ее глубина наполнена какой-то скрытой опасностью; раскроются двери и... над кем-то совершится приговор судьбы...

В этот миг дверь ложи широко распахнулась; повернув выключатель, капельдинер осветил чопорную, со строгой выдержанностью одетую, леди Лимингтон Тольвенор; за ней сухие фигуры ее мужа и сэра Эдуарда Карвера.

— Полет вашей фантазии на этот раз не совсем удачен, — засмеялся Зорин. — Сиятельные фигуры леди и лорда Тольвенор могут заморозить, но не убить; рука же лорда, хотя и влиятельная, не подписывает приговоров!

— Я говорил вам, что для нас часто открываются двери в невидимое, но согласен с вами, что на этот раз мое предчувствие скрытой, грозящей кому-то опасности из литерной ложи не может относиться к лорду или его чопорной супруге, а м-р Карвер очень добрый и отзывчивый человек, incapable причинить вреда даже мухе; его приемы в Гранатном поистине очаровательны!

Львов низко поклонился, когда по нем мимолетно скользнул лорнет леди Тольвенор. Едва заметным движением головы ответила ее светлость, сухо поклонился лорд и ласково улыбнулся Карвер. За ними, в глубине первого отделения ложи, полузакрытая портьерой, едва виднелась чья-то фигура.

Слегка постучала о пюпитр и поплыла в воздухе палочка капельмейстера. Полились звуки оркестра и погасли огни. Мягко шурша, раздвинулся расписанный веером занавес. Тысячи глаз устремились на сцену и взрыв рукоплесканий встретил появление артистки. Блестящая красота ее, несравненная грация и небольшой, но хорошо поставленный чарующий голос надолго приковали к сцене всеобщее внимание.

— Сегодня у вас за ужином прислуживает Кай-Тэн; пригласите Данилова и познакомьте его с Тахикарой, — шепнул отрывисто Тольвенор.

Карвер вздрогнул с головы до ног.

* * *

Долго не умолкали овации по окончании первого акта.

Быстро поднялись с своих мест навстречу входящему в их ложу англичанину финансовые тузы; г-жа Данилова, польщенная вниманием Карвера, расцвела...

Мертвыми, погасшими глазами смотрит на выходящую публику Львов...

— Первая ложа от сцены в партере... Подготовьте сидящую там даму к сегодняшнему визиту Кай-Тэна, — чуть слышно бросил лорд в направлении слабо шевелящейся портьеры.

— Будет исполнено, — так же тихо ответил сидящий там неизвестный.

— Вы совсем забыли меня, г. Данилов, и я был бы очень рад видеть вас сегодня у себя за ужином, — любезно улыбнулся Карвер, вставая, так как прозвучал уже второй звонок и пора было уходить.

— Прекрасный, замечательно симпатичный человек, — восторженно отозвалась г-жа Данилова, лишь только за ушедшим закрылись двери.

— Это уж чисто по-женски, Анна Николаевна; ну, можно ли восхищаться каким-то англичанином, когда перед нами несравненная Мари Перье!

— Всему свой черед, Михаил Ивановича... Тише; раздвигается занавес и сейчас я отдам ей все свое внимание, а быть может, всецело разделю ваши восторги!

Но бедной Анне Николаевне не удалось сделать ни того, ни другого.

Много неудовольствия вызвала она у соседей своим поведением. Весь акт нервно вертелась на кресле, проводила

рукой по лбу, отгоняя какую-то мысль или, наоборот, сясь что-то вспомнить. К концу акта голова ее опустилась на грудь.

— Что с тобой? — тревожно спросил муж, как только вспыхнуло электричество. — На тебе буквально лица нет!

— Не обращай на меня внимания, Сережа, и продолжай восторгаться Перье. Я необъяснимо нервно стала себя чувствовать и готова была бы уехать, не ожидая конца, если бы не жаль было расстраивать вечера тебе и нашему милему Михаилу Ивановичу!

— Обо мне, пожалуйста, не думайте; я досмотрю оперетку и в одиночестве, а вечер после одиннадцати у меня все равно занят; у вашего же мужа едва хватит времени довезти вас до дому и возвратиться в Гранатный переулок без опоздания к ужину!

— В таком случае не буду напрасно мучиться, я чувствую себя отчаянно усталой. Желаю вам приятного вечера, Михаил Иванович, и прошу не забывать нас, а сегодня извините за расстроенную компанию, — любезно простилась г-жа Данилова.

Глава XXI

В Гранатном переулке

Глубокая ночь. Изысканный ужин у м-ра Карвера окончился. Довольные, веселые гости переходят в кабинет и прилегающую к нему маленькую гостиную, где радует их взор безукоризненно вычищенное зеленое сукно карточных столов.

В кабинете играют в макао; более солидная компания перешла в гостиную, где засела за бридж. Тишину прерывают только возгласы игры. Через час страсти разгорелись. Под густыми облаками табачного дыма потускнело электричество. Возбужденные лица покраснелись и покры-

лись каплями пота. К шелесту бумажек начал примешиваться веселый звон золота.

Хозяину не везет. Лицо его мертвенно бледно, глаза неестественно горят, что неудивительно при его большом проигрыше. Зато перед Даниловым кучка золота и бумажек растет и растет.

— Вам везет, как утопленнику, — пошутил его сосед.

— Я давно готов был бы бросить, если бы не стыдно было встать от стола с таким огромным выигрышем.

— Почему? Счастье не каждый день приходит, и не следует бросать карт, пока они к вам так доброжелательны!

— Я чувствую себя усталым настолько, что играю, не отдавая себе отчета. Вероятно, повлияла духота театра, да и здесь не лучше, несмотря на раскрытую дверь в сад.

— Разделяю ваше мнение, г. Данилов, и, пожелав компании возможно больших выигрышей, отправляюсь домой, — произнес доктор Тахикара, вставая со стоящей в углу комнаты кушетки. В начале вечера он проиграл несколько сот рублей и благоразумно удалился от игорного стола.

Между столами бесшумно скользили хорошо дрессированные лакеи, предлагая гостям прохладительные напитки, вина, фрукты. Среди них находился китаец Кай-Тэн, личный слуга Карвера, достаивавший лакеев своей помощью только в случае особенно большого наплыва гостей. Переходивший через комнату Тахикара обронил портсигар, который в тот же миг поднял Кай-Тэн, попутно услужливо стирая с него пыль.

В вестибюле важный швейцар подал доктору пальто и позвал его автомобиль.

— Пожалуйста, позовите и моего шофера, — раздался усталый голос Данилова.

— Вы все же решились покинуть кому-то свое счастье, — обернулся Тахикара.

— Да, я слишком устал!

Раздался гул отъезжающего автомобиля доктора и почти следом за ним вышел Данилов. Лишь с третьего раза его шофер услышал зов.

— Измучился ожиданием, бедняга, и уснул, — снисходительно подумал Данилов.

— Домой, Васильев, — отдал он распоряжение, садясь в автомобиль.

Быстро мчится по сонным улицам Москвы даниловский автомобиль; опытный шофер ловко объезжает неровности мостовой, прожектор бросает яркие снопы света, карета мягко покачивается на своих рессорах. На пути глухой переулок, где Васильев на миг задержал ход машины. Причиной была, вероятно, большая груда камней для постройки, которую он и объехал тихим ходом. Мягко шуршат шины... Сигналов не нужно, на улице никого нет.

Вот и Борки...

Всей грудью вдохнул свежий воздух леса шофер, выпрямляясь на своем сиденье.

— Столько часов проторчал сегодня в Москве, невольно подумалось ему, — еще понятно, поехать в театр, но на кой черт эта английская кукла время от времени устраивает ужины в своем Гранатном. Ведь живет же он неделями на даче у своего приятеля-лорда; вот и устраивал бы там карточные игры; по крайней мере, люди ожидали бы их на чистом воздухе. Разве только он сам леди этой побаивается... Дама основательная, что и говорить: из себя щуплая, а взглянет — точно молотком по голове хватит, — так и согнешься перед ней в три погибели.

Громко, отрывисто закричала сирена, будя задремавший бор. Приехали.

Звук сирены услышал дремавший в вестибюле лакей и, быстро сбежав по ступенькам, распахнул дверцы кареты.

... Из нее никто не вышел...

Как-то нелепо откинувшись в угол, неподвижно сидел Данилов. Съехавшая с головы шляпа лежала рядом с ним на сиденье. Беспорядка в одежде не замечалось... В полумгле раннего рассвета трудно было в первую минуту ориентироваться, не то ему дурно, не то он спокойно спит. Предположили последнее. Лакей громко окликнул своего барина.

...В карете ни вздоха, ни звука, ни шороха...

С интересом следивший Васильев отстранил лакея и смело тронул заснувшего барина за руку. Выпущенная им, начавшая слегка холодеть рука бессильно повисла вдоль тела, а от невольной данной толчка голова покачнулась и упала на грудь.

— Барину дурно, — передавалось из уст в уста, и побежала тревога внутрь дома, полоша сонных людей...

Глава XXII

Страшное возвращение

Вернувшаяся домой в одиннадцатом часу ночи Анна Николаевна Данилова торопила свою горничную, жалуясь на страшную усталость. Быстро раздев барыню, Маша подала футляр для снятых драгоценностей и удивилась крайне, что барыня не поторопилась спрятать их в несгораемом шкафу в кабинете барина, что имела обыкновение делать немедленно по возвращении домой. Накинув на плечи барыни легкий капотик, Маша тщательно осмотрела окна и тихо вышла из комнаты, зная, что барыня, какой бы усталой не была, обязательно перед сном станет на молитву. Окна в остальных комнатах Маша не осматривала; об этом всегда заботилась старая няня барыни, и не любила старушка, чтобы это кто-нибудь делал за нее. Аккуратность няни была известна, и никто уже ее не проверял. Загасив по пути электричество, Маша прошла в свою комнату и вскоре крепко уснула.

Анна Николаевна не молилась, как думала Маша, и не легла в постель, как за минуту перед тем безумно хотела. Стоя посреди комнаты, она крепко сжимала руками пульсирующие виски. Потерявшие выражение остекленевшие глаза переходили с предмета на предмет. В мозгу медленно, лениво позли мысли.

— Как неприятно, что именно сегодня Сережа уехал на этот бессмысленный ужин. Он говорит, что дорожит английскими связями. Обещал недолго сидеть и, чтобы иметь предлог скоро уйти, взял с собою только несколько сот рублей, говоря, что с этими деньгами за макао не просидишь более получаса. Уехал веселый, смеющийся. Почему у меня болит сердце? И что важное я забыла сделать?

Взгляд ее упал на туалет, где на подушке раскрытого футляра тысячами огней переливались два огромных бриллианта серег.

— Ах, вот что! Я забыла отнести свои украшения. Боже, у меня от усталости немеют все члены!..

Медленно подошла к туалетному столу, нажала невидимую среди резьбы головку, вынула из открывшегося тайника ключ от несгораемого шкафа и положила его на самом видном месте туалета.

Вздых облегчения поднял ее грудь; глаза устало закрылись, и бесшумным шагом она направилась через ряд комнат в столовую, где беззвучно отомкнула двойные двери на веранду. Шатающейся тенью вернулась к себе и, не снимая капота, в глубоком сне опустилась на постель.

— Барину дурно, — ползет тревожный шепот по всем углам спящей даниловской дачи; там и сям вспыхивают огни; мелькают фигуры полуодетых людей, слышатся причитания старой няни. По лестнице, придерживая полы кружевного капота, разбуженная и перепуганная внезапным шумом, спускается Анна Николаевна.

Навстречу ей шофер, лакей и дворник вносили бесчувственного мужа

— Ради Бога, что случилось? Положите его на диван в кабинете. И скорее в Москву за профессором Федченко!

— Извините за смелость, но не лучше ли прежде привезти доктора Карпова; он живет в двух шагах, — нерешительно предложил Васильев.

— Кого хотите, только скорее, скорее! — простонала бедная Анна Николаевна, покрывая поцелуями голову бесчувственного мужа.

Через четверть часа Карпов входил в кабинет. Прежде всего он передал почти бесчувственную Анну Николаевну на попечение горничной и няни, и сам занялся больным. Для опытного глаза доктора Карпова после беглого осмотра стало очевидно, что перед ним лежал мертвый, которому всякая помощь была излишня.

— Что могло быть причиной его смерти? Здоровяк был, кажется. Ну посмотрим, посмотрим, — бормотал Карпов, приступая к тщательному осмотру трупа.

На расстегнутом белье он обнаружил засохшие капельки крови; проследив их направление, он вдруг вздрогнул с головы до ног и побледнел почти как лежащий перед ним труп. За левым ухом он заметил крошечную, еле сочащуюся кровью ранку с обсосанными краями.

Шатаясь, подошел он к телефону и вызвал уголовный розыск. Второй звонок был к Кноппу, с которым Карпов в последнее время сошелся. Сообщение его было коротко. В ответ раздался глубокий вздох и одно только: сейчас!

Через полчаса дом Данилова жужжал как улей. По требованию обезумевшей от горя Анны Николаевны все же был вызван профессор Федченко. Несчастной все казалось, что муж не умер, что у Карпова не хватает только умения приести его в чувство.

Профессор подтвердил горькую истину, вместе с Карповым констатировал смерть от поранения сонной артерии. Он подтвердил высасывание крови из ранки и определил время наступления смерти между двумя и половиною третьего часа ночи. Роль врачей окончилась...

Началось расследование...

Глава XXXIII

Предварительное следствие

Убийство широкого благотворителя миллионера Данилова взбудоражило власти Москвы. Заработавший по всем

направлениям телефон собрал через какой-нибудь час на даче Данилова всех представителей судебной и административной власти. Все были поражены, расстроены, прямо убиты происшествием.

Бледный, как смерть, пристав части едва держался на ногах под строгим взглядом прибывшего полицеймейстера. Не говоря уже о появившихся каких-то привидениях, два убитых миллионера! И все это в Борках. Есть от чего сойти с ума. Еще места, пожалуй, лишись.

— И чем я-то виноват, что это все происходит в Борках. Все у меня в порядке; к счастью, окологородный час тому назад посты проверил. А может, это у вас, г. полицеймейстер, на улицах в автомобилях людей убивают, — бормотал он про себя.

Дача Данилова оказалась ограбленной. Из несгораемого шкафа, ключ от которого торчал в замке, взяты все огромной ценности украшения Даниловой. Деньги тоже исчезли. Точной их суммы Анна Николаевна определить не могла, но помнила, что была их большая пачка, когда муж отделил себе для карточной игры. Пропал и замшевый мешочек, в котором покойный всегда держал золото. Наличия взлома не установлено; вор, очевидно, вошел через открытую дверь, ключ от которой был вставлен с внутренней стороны. Всегда осматривавшая и тщательно запиравшая двери старая няня г-жа Даниловой утверждала, что и в этот вечер закрыла их и еще раз осмотрела их, идя спать, это было около одиннадцати часов ночи; няня не спала, когда г-жа Данилова вернулась домой. Сама г-жа Данилова показала, что в этот вечер чувствовала себя особенно усталой и не выходила из своей спальни, где на туалете оставила даже бриллиантовые серьги и чрезвычайно ценное жемчужное кольцо. Она была с мужем в кабинете и хорошо помнит, что он замкнул несгораемый шкаф и положил ключ во внутренний карман жилета. Ее же собственный ключ прячется в секретный крошечный ящик, о существовании которого не знает даже ее няня, хотя ее давно считают своим человеком.

Все переглянулись. Ключ убитого, давно вынутый Зениным у него из кармана, лежал на столе.

— Так как шкаф открыт, очевидно, вашим ключом, сударыня, и тайник ваш уже известен убийце, не откажитесь показать его и нам, — обратился любезно к Даниловой товарищ прокурора.

Анна Николаевна быстро прошла в свою комнату и установилась там пораженная: только сейчас она заметила, что серьги и кольцо пропали. Показала им лишь привычному глазу видную крошечную головку, спрятанную в резьбе, украшавшей стол, и открыла тайник.

Маленький плоский ящик был пуст. Туалетный столик был заказан в Петербурге и с самого момента его привоза она никогда ни при ком не открывала тайника.

Дело запутывалось все больше и больше.

Дорожки парка и пол сохранили следы больших ног, но Зенин утверждал, что, судя по оттиску, обувь была значительно больше ноги и надета очевидно, для скрытия настоящего размера ступни.

Он шел спокойно: вор, очевидно, был знаком с расположением комнат или уверен, что никого не разбудит. Он безусловно имел в доме сообщника, но кого же?

Няня исключалась. Глубокая старушка боготворила вынянченную ею Анну Николаевну, которая всегда заботилась о ее нуждах и карманных деньгах для церковных расходов. Родных у нее не было.

Горничная жила у Даниловых пять лет и не была замечена в чем-либо предосудительном.

Лакей Яков служил умершему, когда тот был еще холостым, был преданным и безусловно честным человеком, за что ему охотно извиняли маленькую слабость: пойти время от времени выпить пива со своими знакомыми и с часок поговорить о политике, в которой он считал себя большим знатоком.

Второй лакей, повар и его помощник не ночевали в самом доме, а в отдельном домике в глубине сада; там же помещался и садовник с мальчиком-помощником.

Дворник помещался в маленькой сторожке у ворот.

Последним допрашивали шофера.

Бледный и взволнованный, стоял он перед столом следователя и чувствовал, что его ответы беспощадно губят его, но что иное мог он сказать?

Опрошенный по телефону швейцар Карвера точно определил выезд убитого, так как в это время часы пробили два. Подтвердил он и то, что Данилов садился один.

— Вы продолжаете по-прежнему утверждать, что нигде не останавливались и не впускали никого в карету? — допрашивал Зорин.

— Нет, улицы были совершенно пусты. Ехал я очень быстро. Вскочить на таком ходу никто не мог. Проектора далеко и широко освещали путь; я первый заметил бы приближающегося человека!

— Вспомните хорошенько, — мягко сказал Зорин, — быть может, на вашем пути попадалась починка мостовой или загораживающая путь стройка дома?

— Решительно нет, г. следователь, такие вещи могут задержать опытного, знающего свое дело шофера только при дневном движении, а ночью, видя их издали, свободно можно маневрировать, не задерживая хода!

— Вы утверждаете, что дверцу кареты открывал лакей, а вы, соскочив с сидения, стояли сбоку?

— Да, г. следователь!

— Не заметили вы в карете какого-нибудь особого запаха, кроме духов г. Данилова?

— Я не специалист по этой части. Кроме того, г-жа Данилова почти ежедневно высылала Машу вспрыскивать сидение и стенки шипром, да и сама она употребляла крепкие духи, отчего в карете стоял всегда приторный удушливый запах!

— Долго ли стояла открытой дверка кареты, когда вы приехали?

— Не могу определить точно. Не обратил внимания. Очень все растерялись и испугались; не сразу догадались вынести хозяина, да и потом я закрыл ее только, когда вышел из дома, чтобы ехать за доктором!

— Отходили ли вы далеко от своей машины, когда ожидали г. Данилова в Гранатном и не приближался ли кто-нибудь к вам?

— Нет, г. следователь. Нас там было всего несколько человек и машины стояли одна за другой. Гранатный переулок всегда тихий, а в ночную пору, да еще летом, совершенно безлюдный!

Присутствующие при допросе власти невольно переглянулись. Возбуждал глубокую жалость этот жестоко обвиняющий сам себя молодой человек. У всех было какое-то невольное чувство его невинности, а улики против него собирались неотразимые.

— Мне вас очень жаль, Васильев, но я должен временно подвергнуть вас аресту.

Беспомощно оглянулся бедняга на всех присутствующих, точно ища в ком-нибудь защиты.

Все лица были строги и серьезны.

Тяжело вздохнув, повернулся он к выходу, где окружили его городовые и сопровождающей их околodочный надзиратель. У самой двери к нему подошел Зенин и шепнул только пять слов: «Я верю в вашу непричастность».

Полными слез глазами взглянул на него Васильев.

За шофером настала очередь дворника Власа. Он откровенно признался, что часов с одиннадцати, закрыв ворота за выехавшим барином, он лег в своей сторожке и заснул, пока не услышал гудок автомобиля. Он называл свой сон грехом, прощения просил за него положительно у всех и ничего более от него нельзя было добиться.

Лакей Яков, проводив барина, собрался было пойти спать, но сел в плетеное кресло у широкого окна вестибюля, намереваясь покурить, и сам не почувствовал, как задремал; очнулся, услышав сигналы шофера. Балкон находился на противоположной стороне дома и ему не мог быть виден, равным образом и окна спальни.

Допросили остальную прислугу и только собрались позвать старую няню, когда вдруг отчаянно зазвонил телефон. Все вздрогнули, точно ожидая нового несчастья.

Взявший трубку товарищ прокурора побледнел, как мертвец.

— Из тверской полицейской части извещают, что в «Hotel National» при загадочных обстоятельствах обнаружили убийство певицы-гастролерши Мари Перье, — ни к кому особо не обращаясь, сообщил он каким-то надтреснутым, не своим голосом.

В комнате водворилась мертвая тишина.

Глава XXIV

Hotel National

Важный швейцар не успевает сегодня вечером закрывать двери. Без конца вносят корзины, букеты, венки и растения в ценных художественных горшках. Особенно хорош огромный куст камелий, сплошь покрытый кроваво-красными цветами.

Залюбовалась ими капризная, избалованная артистка и распорядилась внести их в свою гостиную. Она занимает во втором этаже большое комфортабельное отделение из пяти комнат, в одной из которых помещалась всегда сопровождающая ее камеристка Жюстина. Цветами заполнен весь прилегающий к их отделению коридор. В комнаты внесены только любимцы m-lle Перье, но их так много, что ими заставлена гостиная и большой, выходящий на угол Тверской улицы и Всехсвятской площади балкон.

Из столовой раздается звон бокалов и веселый серебристый голосок певицы, которая с грациозной игривостью выпроваживает своих гостей. Она разрешила избранным выпить у нее по бокалу шампанского, не больше. О, нет! Ей на лето предписан строгий режим. В постель лечь должна хоть за минуту до двенадцати. И вообще, только настоячивые просьбы и колоссальный гонорар заставили ее приехать на неделю в Москву, а потом она отправляется на отдых и лечение.

— Au revoir, messieurs! Au revoir!

Напевая веселый куплет шансонетки, звонко постукивая высокими каблучками по паркету, впорхнула она в свою комнату, где заботливая Жюстина приготовила все для ее ночного туалета.

— Не выносите цветов из гостиной, Жюстин, и оставьте открытыми окна и балконную дверь. Ночь сегодня такая теплая, и я надеюсь, что до восхода солнца эти дикие москвичи не начнут ездить по своим допотопным мостовым. Главная улица, а чего только по ней не везут и гремят, как безумные!

— С началом движения я закрою двойные двери и окна. В комнате остаются только две корзины белых роз и эта роскошная камелия!

— Скорее, скорее, Жюстина, я боюсь, что двенадцать пробьет прежде, чем я лягу, а я дала слово моему жениху и сдержу его!

За десять минут до назначенного срока m-lle Перье уже нежилась в шелковистых волнах батиста и кружев.

Неслышно скользя по комнате, приводила в порядок разбросанные вещи Жюстина. На кресле в гостиной валялась изящная сумочка, полная денег. Внушительная коллекция всевозможных подношений, небрежно переданная ей еще в театре, сверкающей грудкой лежала на столе.

— Что стало бы с mademoiselle, если бы при ней не было меня? Ведь ее, бедную, совершенно обообрали бы, — сочувственно подумала Жюстина, отделяя себе сравнительно небольшую пачку денег и выбирая на вид скромную, но изящную брошь, которою был пристегнут пышный бант широкой ленты, обвивавшей ствол гортензий.

Ночную лампочку m-lle Перье приказала погасить. Луна, заливая ярким серебристым светом гостиную, через открытую дверь заглядывала в спальню. Оставляя в тени туалета, ее лучи оживляли строгие складки тяжелых оконных занавесей, шаловливо играя на цветах пушистого ковра, серебрили шелк одеяла, мягким светом пробежали по юному личику и, казалось, шевелили черные кудри.

Перье подвинулась на самый освещенный край постели, закинула за голову точеные ручки и, купаясь в мягком свете луны, замечталась...

Первые мысли принадлежали, понятно, жениху. Мелькнуло сожаление, что он не видел ее сегодняшнего триумфа, и с этого момента перед умственным взором поплыли лица минувшего вечера.

— Потешные эти москвичи, но как щедры! По подношениям — они все крены, но как неуклюжи и смешны с их французским разговором. Хотя бы тот, что преподнес букет роз, застегнутый браслетом из бриллиантов. Он уморительно называл себя... чуть сморщился прекрасный лобик... да, Ю-ра-сов. *Quel drôle de nom Ju-ra-soff...*¹ Но как выделялся среди них пришедший за кулисы англичанин. Так холодно, но в то же время изысканно любезен. Если бы я нечаянно не полюбила так горячо моего Мориса, то отдала бы сердце только сыну Альбиона; они, бесспорно, лучшие экземпляры мужской породы на земле. Но сделанного не поправишь, — улыбнулась она мелькнувшему перед глазами облику Мориса.

— А этот маленький японец... уморительный...

Глаза закрылись, и как в тумане поплыли лица, виденные в театре.

Ей невольно вспомнились зеленые глаза, глядевшие на нее из первой от сцены ложи бенуара. Там сидела какая-то поразительно красивая дама, но она взглянула на нее мельком; ее и поразили и притянули страшные зеленые глаза сидевшего за ней господина. В последнем акте она делала над собой усилия, чтобы не глядеть в направлении черной фигуры с зелеными глазами. Зеленые глаза с огнем горящими зрачками. Такие, вероятно, бывают глаза волков? Ведь это страна волков. Хорошо, что сейчас лето. Быть может, это один из них, одетый в черную пару... плывут в полусне бессвязные мысли. Даже вздрогнула она от такого предположения, и вдруг показалось ей, что темные складки

¹ Какое забавное имя Ю-ра-софф (фр.). (Прим. изд.).

оконного занавеса тихо заколебались, и из них блеснули страшные глаза.

— Почему я приказала погасить ночную лампочку? — подумалось ей сквозь сонную дрему.

А луна зашла за набежавшее облако и комнаты погрузились в серый полумрак.

M-lle Мари чувствует, как у нее начинает тревожно биться сердце. В душу ползет предчувствие беды. Тяжело дышет грудь. Бессильная, точно свинцом налитая рука не поднимается нажать кнопку звонка. Тревожные мысли бегут с неуловимой быстротой. Глаза открыты, мозг почти свеж, но тело сковано мертвенной неподвижностью, и в нем больно, неровно колотится сердце. Думается ей, что только оно и живет, а сама она уже ушла из неподвижного тела.

Белые розы пошатнулись перед ее глазами. Одна из них вытягивается выше и выше. Заколебалась в воздухе, принимая иную форму. Высоко вытянувшийся стебель оделся в тяжелую шуршащую ткань и поплыл по воздуху, волоча за собою длинный шлейф. Цветок превратился в женскую голову чудной красоты и идет, плывет к ней странная фигура. Слышится, как с тяжелым шелестом влетело в балконную дверь тело птицы или человека...

Зашевелились, запрыгали по полу невиданной формы уродцы; заколебался воздух от взмахов больших черных крыльев. Забилось готовое выпрыгнуть из груди сердце, округлились расширившиеся от страха глаза, но неподвижно непослушное тело. Вся прилетевшая нечисть толкается, спорит, пищит. Низко к полу гнутся нежные ветки пышных роз от тяжести прыгающих на них уродцев. С куста камелии, как огромные капли крови, падают, обрываясь, цветы.

Вот расшалившиеся ужасные гости подобрали упавшие цветы, в миг вскарабкались по спинке кровати и бросают ей в лицо красные гроздья.

Над нею распростерлись черные крылья и горят голодным взглядом зеленые глаза.

— Прочь!

Властной рукой отстраняет уroda белая красавица; наклоняется над неподвижным от ужаса телом, холодными руками обвила его голову и жадно прильнула губами к шее. Нечувствительна тяжесть воздушного тела, — булавочным уколом показался жадный поцелуй, но задохнулась, захлебнулась страшным запахом тления мертвого тела.

...Крикнуть бы... нажать кнопку... Поздно...

Куда-то уходят из тела и силы, и жизнь... Закрылись глаза. Не боится, не видит, не чувствует.

Поднялась уплотнившаяся белая фигура, наклонилось зеленоглазое чудовище.

— Близок рассвет... нам пора, — прозвучал властный голос.

В тихой комнате благоухали розы; кровавые камелии улыбались близкому рассвету, на кружевном ложе покоилось юное, прекрасное, неподвижное тело.

.

На ступеньках часовни Иверской Богоматери сидят в тихой, предрассветной дремоте женские и мужские фигуры. Две-три на коленях припали к дверям часовни. Горяча их молитва в тишине и таинственном полумраке рассвета. Ждут удара к заутрене и с ним прихода монаха.

— Шу-у-у! — низко над головами богомольцев пролетела громадная летучая мышь.

— Кышь ты, окаянная, — отмахнулась от нее стоявшая на ступеньках старушка. — Ишь, погань, летает у самой святыни!

— Бу-у-м, — поплыл по Москве тягучий густой удар с высоты Ивана Великого. Подхватили у Спаса, Василия Блаженного и полился музыкальный перезвон «сорока сороков».

Встали и истово перекрестились ночные богомольцы.

.

Вскочила с постели Жюстин.

— Пропала закрыть окна и двери; разбудили, верно, mademoiselle. Ишь раззвонились, как сумасшедшие; праздник у них, что ли, какой-нибудь особенный!

Быстро закрыла балконную дверь; под ноги попались разбросанные цветы.

— Mademoiselle вставала ночью, — озабоченно подумала камеристка и, неслышно ступая, заглянула в спальню.

Медленно поднялись отяжелевшие веки артистки; с бескровных уст послышался хриплый шепот бреда:

— Сбросьте с постели уродцев... душит... запах тления...

Отдернула, почти оборвала тяжелую штору Жюстин и широко распахнула окно, впуская струю свежего воздуха.

— Что с вами? Кто напугал вас, mademoiselle? — бросилась она к умирающей.

— Белая женщина... зеленые глаза... черные крылья, — со страшным усилием прошептала Перье. По ней пробежала судорожная дрожь; тело вытянулось и замерло.

Глава XXV

Загадка

С бешеной скоростью мчатся казенные автомобили из Борок в Москву. Сидящие в них хранят гробовое молчание. Непрерывно дают грозные сигналы шоферы. Далекие встречные спешат посторониться и долго потом недоуменно глядят вслед промчавшимся чудовищам. Полицейские автомобили многим знакомы, а полицеймейстера знают в Москве чуть ли не все поголовно.

— Что-то стряслось недоброе, Господи Батюшка, — качают головами ломовики. — Ишь их сколько поехало! Непроста!

— Слышь, миллионщика-то Данилова убили, — сообщила возвращавшаяся из Борок молочница. По оживленному

лицу видно, что бабенка рада-радехонька быть первой вестницей сенсационной новости.

Первая страшная вест поползла по городу.

Бешено мчавшиеся автомобили остановились у подъезда Национальной гостиницы. В широко распахнувшуюся дверь первым влетел еще на ходу спрыгнувший Зенин. Уж очень хотелось ему взглянуть на нетронутый еще посторонней рукой труп.

За ним, шагая через две ступеньки, бежал следователь. В конце коридора их встретило благоухание бесчисленного множества цветов. Дверь квартиры открыла услышавшая шум шагов заплаканная Жюстина.

— Когда обнаружили убийство? — бросил на ходу Зорин.

— Да уж больше часа, как умерла *mademoiselle*; только мы сначала старались привести ее в чувство; не хотелось верить, что она умерла!

Следователь и Зенин, а на ними подоспевшие врачи и полицейские власти замерли на пороге спальни.

Тяжелые шторы были широко раздвинуты. Поднявшееся уже над крышами домов солнце щедро бросало свои лучи на нарядную постель и на лежащую на ней красавицу-артистку. Глаза были закрыты; длинные шелковистые ресницы темной тенью падали на снежно-белые щеки. На прекрасно очерченных губах застыла полу-улыбка, полу-гримаса легкой боли; вокруг рта легла черточка детской обиды. Чуть склонилась набок головка, утренний ветерок легонько шевелил рассыпанными по подушке черными кудрями с запутавшейся в них алой камелией, придавая прекрасному личику иллюзию жизни.

— О, моя бедная, милая *mademoiselle*, — всхлипнула камеристка и этим вернула всех к горькой действительности.

— Прежде всего, прошу выяснить причину смерти.

Приехавшие вместе со всеми из Борок профессор Федченко и доктор Карпов подошли к печальному ложу и, не сговариваясь, движимые какой-то общей мыслью, столкнулись руками в желании приподнять волосы и заглянуть за левое ухо.

Все окружавшие постель затаили дыхание, в воздухе повисла роковая мысль. Осторожно опустил на подушку мертвую голову профессор, переглянулся с Карповым, и их одновременный тяжелый вздох красноречивее слов ответил на немой вопрос окружающих. Оба отошли от ложа умершей. Не для чего было беспокоить ее вечный сон.

Приступили к осмотру квартиры. Зеркальный шкаф, ящики письменного столика и замки бесчисленных баулов были целы. В гостиной обнаружили нетронутыми изящную сумочку, полную денег, грудку ценных подношений, между которыми, под лучами солнца, играл голубыми огнями дорогой бриллиантовый браслет Юрасова.

Окна и балкон были недостижимы со стороны улицы, не говоря уже о том, что этот угол гостиницы ярко освещался электрическими фонарями Всехсвятской площади и был виден от Иверской часовни, где по ночам всегда полно богомольцев. Комнаты сохранили тот же вид, в котором оставила их Жюстина, кроме раскиданных по полу цветов камелий. Камеристка уверяла, что оставила громадный куст, так густо покрытый цветами, что он представлял из себя как бы искусственно сделанный букет, а теперь он какой-то общипанный, и у mademoiselle запутался цветок в волосах. По ее предположению, mademoiselle вставала и, вероятно, в бреду рвала и бросала цветы.

— Что дает вам основание думать, что mademoiselle была в бреду перед смертью?

— Она бредила, умирая, г. следовательно, — и горько плачущая Жюстина передала подробно всю картину своего прихода и бессвязных, бессмысленных слов умирающей.

Бред умирающей о белой женской фигуре, зеленых глазах и черных крыльях!

Вот основа для следствия и сыска!

— Чертовски мало, вернее, ничего, — одновременно подумали Кнопп и Зенин.

Квартира была замкнута изнутри, в конце коридора, на повороте лестницы, всю ночь была открыта дверь в контору, где, как во всех первоклассных отелях, находился дежурный.

Невольно все подумали, что вот настанет день, и полетят по улицам Москвы срочные добавления газет, а телеграф разнесет по всему свету два сенсационнейших убийства, а с ними и рассуждения о бездеятельности московской полиции.

— И сколько помоев польется на мою бедную голову, — подумал Кнопп. — Ведь нет еще ни малейших данных по делу убийства новобрачных Потехиных, а уже на руках убийства при самых загадочных обстоятельствах миллионера Данилова и Перье!

С недоброжелательством, доходящим до ненависти, взглянул он на проскользнувшего в комнату корреспондента «Русского слова», который поспешно щелкал кодаком, делая снимки с умершей, с прилегающих комнат, с балкона и... о дерзость, с растерянных лиц следователя и властей.

Глава XXVI

Тайна леса

В самой гуще леса, куда пролегают только тропинки и нет признака проезжей дороги, стоит старенький, покосившийся домик. Входная дверь его обвисла на ржавых петлях и скрипит и стонет, будя отклик леса, когда ее запирают на ночь. Зеленое стекло подслеповатого оконца так потускнело от времени, что и в яркий день мало пропускает света в убогую хижину. Да в этом свете и не нуждается ее обитательница. С самого раннего утра, почти от рассвета, она уходит с кузовком в лес и пропадает там часто до позднего вечера, собирая таинственные корешки и травы. Есть корешки, за которыми она выходит в самую полночь, да и то не во всякий день.

Наружностью она вполне подходит к своему домику; возраст ее невозможно определить точно; может быть, ей сто, а то и полтора лет, — говорят окружающие крестьяне;

никто из стариков даже не помнит молодой Демьяниху. Всегда глаза ее глядели из глубоких впадин, крючковатый нос спускался над ввалившимся беззубым ртом, спина никогда не выпрямлялась и шагу она не ступала без своей основательной клюки.

В ее походах по лесу сопровождал ее огромный черный кот со злыми зелеными глазами, — в избушке же оставалась лишь сова, целый день мирно дремавшая в углу за печкой. На протянутых жердях сушились травы, распространяя аромат свежего сена. По стенам были развешаны шкуры змей, ящериц и жаб. Все это без слов объясняло профессию обитательницы домика; она с давних пор занималась лечением людей и скота и за хорошую плату продавала приворотные зелья, нагоняла порчу, а при случае ее нашептанная вода незаметно устраняла надоедавшего мужа или ускоряла получение наследства.

Это создало ей нелестную славу, дало прозвище колдуньи и окружило ее жилище атмосферой страха; это ограждало ее от вора или лихого человека; никто не рискнул бы напасть на двух беззащитных женщин, обитательниц таинственной избушки.

Все знали, что у старухи водятся деньжата и немало добра припасено для красавицы-дочери; но и этому добру и золоту приписывали происхождение от нечистого, а в ближайших лавках не любили даже продавать колдунье провизию, с опаской дотрагиваясь до ее денег и стараясь скорее сбыть их на рынок, искренне удивляясь, что они не испаряются у них в руках. Приписывали это, конечно, молитве, с которой их принимали.

Дочери ее тоже немало удивлялись; такая она уродилась красавица и совершенно не походила на крестьянку. Над этим тоже покачивали головами, а так как никто никогда не видал и не знал мужа хозяйки избушки, и дочка эта появилась, когда она походила уже на старую ведьму, то отца бедной Наташи с уверенностью считали чертом, и привилась к ней кличка ведьминой дочки, да еще от отца черта. Мудрено ли, что, несмотря на выдающуюся красоту и чарующую грацию, ее сторонились парни и девицы всей

округи; даже ребятишки, встречая ее в лесу, отплевывались и разбегались. Досужие кумушки утверждали, что видели у нее, когда она купалась, хвост.

Результатом этого была угроза парней, что ее до смерти закидают камнями, если она не перестанет поганить своим телом их речушку-«глазomойку», в которой и бабы белье полощут, и детишки купаются, и скотинка воду пьет.

Не раз горько плакала Наташа над своей злою долей. Тяжела ей была такая отчужденность с малых лет, но, пока она была маленькой и не понимала всей горечи общего брезгливого презрения, лесные обитатели вполне заменяли ей людей. С утра до вечера, особенно в летнюю пору, носилась маленькая Наташа по самой гуще леса, сводя дружбу с резвыми белками и трусливыми зайцами. Все они как-то быстро привыкали к Наташе и становились ручными. Приучала она к себе и птиц, с которыми разговаривала то ласково, то строго, смотря по их поведению. Не любила Наташа, когда сильный обижал слабого, и всегда за последних заступалась.

Часто можно было видеть ее под большой сосной, когда, запрокинув золотистую головку и строго грозя маленьким пальчиком, она уговаривала красногрудого дятла посидеть смирно хоть часочек.

— Ну что, не переставая, стучишь по стволу... тук-тук-тук... только тебя и слышно. Ведь с самого утра ты сколько уже наловил букашек? Думаешь, я не видела, не знаю? Дай им, бедняжкам, передохнуть от страха, а то убирайся с этого дерева, — постучит она, бывало, кулачком по огромной сосне.

Дятел, точно понимая, приостановит свою работу и, склонив на бок головку, покосится на нее одним глазом.

— Уходи, говорю! а вот я тебя, обжору! — начинает она бросать в него шишками. Дятел, снисходя к капризу общей лесной любимицы, не торопясь, лениво перелетает через два-три дерева от девочки, и опять слышно его упорное: тук-тук-тук. А девочка уж далеко, увидела резвую белку и пустилась с ней на перегонки. На пути попалась полянка,

такая веселая, светлая, вся пестрая от разнообразных цветов.

Наташа села, плетет венок для своей золотистой головки и поет песни своего сочинения. Она и молитвы к Богу сочиняет сама: ее никто никогда ничему не учил.

Одевала ее старуха в яркие сарафанчики да снежно-белые рубашки; в них Наташа и сама походила на дивный цветок. На крошечных ножках красные туфельки скоро изнашивались, уж очень много работы давала им их обладательница.

Мать никогда не корила ее разорванным сарафанчиком или туфельками; в тот же день разорванное заменялось новым.

Об одном только неустанно твердила она Наташе, чтобы не потеряли та ладанки, висевшей, как она себя помнит, у нее на шее, в золотом мешочке, который мать называла парчовым.

Эту ладанку мать называла иногда талисманом, который когда-нибудь превратит ее милую дочку, скромный лесной цветочек, в принцессу. Уедет она тогда из лесу в золоченой карете, с лакеями на запятках. Слово «принцесса» было для Наташи совершенно непонятным; с лесом своим она ни за что не хотела расстаться, золоченую карету представляла себе большой клеткой, цветом похожую на ее цепочку от ладанки, а лакеев на запятках она воображала как невиданных птиц, неразрывно связанных с этой клеткой. Очень их жалела, считая их долю печальной и молила Бога, чтобы он не превращал ее в принцессу, и не приезжала бы за ней эта страшная карета. Так росла малютка, а потом девочка Наташа...

Теперь это уже взрослая девушка с высокой стройной фигурой, с падающими на плечи золотистыми кудрями, с мечтательным выражением больших голубых глаз, с алыми губками прекрасно очерченного рта, с соблазнительными ямочками на розовых щеках и врожденной грацией движений. Взрослая Наташа не бежит уже за белками, не бранится с дятлами, но по-прежнему дружит со всеми жителями леса и если не сильнее, то сознательнее любит этот

лес. Ей знакома в нем каждая самая незаметная тропинка, она не заблудится здесь ни днем, ни ночью. Любит она лес в тихую, ясную погоду, но не боится и в бурю; для нее не грозно шумит бор в непогоду, а только тревожно и озабоченно. Грозен он только злым, нехорошим людям, каковыми в настоящее время Наташа считала всех, кроме матери. Но вот уже скоро месяц теплом и лаской полна ее грудь к тому страдальцу, что борется со смертью в ее светелке. Дни и ночи, только для короткого отдыха сменяемая матерью, сидит она у его изголовья.

Первые дни он лежал неподвижно, не издавая ни звука, с едва заметным дыханием под сплошными бинтами головы и груди. Все свои знания приложила старая ведунья к его спасению и только с неделю назад подала первую надежду на выздоровление. Вспоминалось Наташе его появление в их домике. Мать принесла известие, что на следующий день венчается сын купца-миллионера, что по этому поводу готовится небывалое торжество. Целую ночь будет греметь музыка, лес ни далекое пространство zalьется разноцветными огнями, будут взлетать на воздух какие-то ракеты и, лопаясь высоко в воздухе, рассыпаться искусственными звездами; загорится ночью солнце, и много еще будет невиданных диковин.

Соблазнили вести эти Наташу; стала она обдумывать, как бы и ей повидать это чудо, не подвергаясь насмешкам и бросанию камней в «ведьмину дочку». Не без основания решила она, что стар и мал, господа и прислуга, все захотят поглядеть на редкое зрелище, и пробраться задами дач не будет трудно даже и к главной аллее. Наташа решила довольствоваться какой-нибудь боковой дорожкой парка. Она отперла свой большой, полный нарядов сундук, выбрала темное платье, разыскала на дне большой черный платок, закуталась в него с головы до ног и с наступлением сумерек пробралась чуть ли не на самый Майский проспект.

Сначала ее пугал только гул людских голосов, потом вдруг с шумом взвилась к небу огненная лента и с треском рассыпалась разноцветными звездами. Почти одновременно парк осветился зелеными, голубыми, красными огня-

ми. И только загляделась Наташа на эти диковины, раздался невероятный грохот. Даже деревья зашатались, как в бурю, и почти к ее ногам тяжело упал, как ей показалось, с неба, какой-то человек.

В первый миг она готова была бежать без оглядки, потом любопытство взяло вверх, и она несмело наклонилась над лежащим телом, на котором сохранились только клочки одежды, а голова, грудь и плечи были покрыты кровью, полные же невыразимого страдания глаза, не мигая, смотрели в небо.

В душу Наташи проникла непонятная для нее самой, неожиданная глубокая жалость к лежавшему у ее ног страдальцу.

Унести его к себе? Выходить, вылечить у себя в лесном домике! Быть может он, в благодарность, не взглянет на нее потом с презрением и, возвратившись к людям, опровергнет выдумку о ее происхождении от дьявола, расскажет, как добра ее мать, как хорошо и уютно во второй комнате их домика и... Это она уже едва осмеливалась подумать, согласится, взяв ее за руку, ввести к себе, в свой дом, познакомить со своей сестрой, которая станет ее подругой.

Не раздумывая долго, Наташа приподняла тяжело стонущего страдальца, оттащила, напрягая все силы, вглубь леса, затем, прикрыв его снятым с себя платком, побежала за матерью. Умолила, упросила старушку, и вот он у них на пути к выздоровлению. Теперь Наташа уже знает, что он не отведет ее в свой дом и не даст в подруги сестру. Из несвязного бреда она поняла, что он сам должен прятаться от людей, что с рокового дня свадьбы он стал красным зверем, на которого люди охотятся, что мать его умерла, а отец — страшное чудовище. Брата своего он разорвал на клочки, но плачет, сокрушается, мятется душой о какой-то синеокой красавице. Не понимает Наташа, почему ей так больно от мысли, что кому-то отдано его сердце.

— Синеокая красавица, — нет, это не она, Наташа. Да и какая же она красавица?!

Наклонилась над прозрачной водой ручейка; в нем отразилось побледневшее печальное личико с грустным усталым взглядом голубых глаз.

— Нет, не я! Не такие должны быть красавицы!

Улыбнулась еще печальнее и только хотела вернуться домой — сменить мать, перед ней выросли вышедшие из леса два мальчугана с кузовками, полными грибов. Опасливо попятились от нее дети, а она вся похолодела от мысли, что так и опасные для больного люди могут нечаянно подойти близко к их избушке и там услышать предательский стон или крик боли и отнимут его у нее. От этой мысли сердце у нее похолодело и замерло. Все, что угодно, только не разлука с ним!

И вот юная красавица, обычно старавшаяся побороть ласковой улыбкой детский бессмысленный страх к себе, — сделала грозную мину и с криком погналась за мальчуганами. Бедняжки со страху побросали свои кузовки и что есть силы пустились бежать наутек от ведьминой дочки.

Прибежав домой, они рассказали, что она гналась за ними в ступе и погоняла огромной метлой.

Вернувшись домой, Наташа о чем-то долго совещалась с матерью. Что они порешили, осталось тайной, только старушка успокоила дочь обещанием оградить больного от опасности, грозящей со стороны случайных посетителей.

В первый раз за много дней, радостью осветилось лицо Наташи, отвагой блеснули голубые глаза, в презрительную улыбку сложились губы...

Глава XXVII

Храмовый праздник

Восьмое июля. «Казанская» — храмовый праздник в селе Богородском. С утра все пошли в церковь, потом сели за праздничный стол с наехавшей родней. Бабы выпили домашней хмельной браги, мужики хватили немалую толи-

ку зелена вина; и к вечеру сытые, веселые, пьяные высыпали на улицу, благо и погода благоприятствовала.

Девки с парнями, парочками и группами, рассыпались по ближайшей роще. Раздалась веселая песня, затлинькала балалайка, в неумелых руках двумя тоскливыми нотами заныла гармошка.

Солидные мужички уселись на бревнах, наваленных для предстоящей стройки у дома старосты, и пошли деловые разговоры. Бабы расселись на завалинках и повели свои бабьи беседы, занимая приехавших сватьюшек.

— А правда ли, Афросиньюшка, — полюбопытствовала одна из приезжих, — что у вас по лесу стало нечисто?

— Ох, миленькая, и не говори. Аленкиных парнишек ведьмина дочка так напужала, что меньшенький заикаться стал.

— Чем же она их напужала-то?

— Пошли они, значит, по грибы, и грибов, говорят, набрали один к одному; головочки все молоденькие, да и зашли по детской-то глупости чуть не к ейному дому, а дочка ее их, как узрит, помело схватила да в ступу, да за ними... Как только ребяташек вынесла Владычица Пречистая!

— Ой, батюшки родимые, да уж не показалось ли это ребяташкам со страху? Теперь, быть, такого-то и не слышать!

— Что ты баешь, — вмешалась старая Маланья, — это в городу-то такого, может, теперь и не слышать, ну а в лесу этой самой нечисти и посейчас сколько угодно!

— Да что говорить, — встряла подошедшая рябая Марья, — намеднись я яички дачникам носила, дык от барской горничной слышала, что пошла этта она со своим кавалером, значит, в лесок; ну, знамо, дело молодое, то да се, и не заметили, как смерклось. Вдруг над ними как шагнет чтой-то; глядь, птица агромадная, сама черная, а крылья как жар горят, аж свет от них на дерева падает, да как загогочет... Они и света не взвидели, не помнят, как из лесу выскочили. Напужались страсть. Что ж, он человек военный, в пожарных служит третий год!

— Ну и дурак, хошь и в пожарных служит, — презрительно фыркнула молодая бабенка, ходившая на поденщину к господам и потому считавшая себя развитой и умнее старых баб.

— А ты бы, Евгения, шла своего Митьку качать замест того, чтобы в разговоры вступать!

— И верно, ваших глупых сказок не переслушаешь, — завернулась Евгения.

— Смотряй; ходи да оглядывайся! Мы знаем, что знаем; как бы тебе муженек-то твой хвоста не пришил. Образовалась больно по господским дворничким, — бросила ей вслед обиженная Марья. Образовавшаяся по господским дворничким Евгения предпочла благоразумно смолчать.

Компания увеличилась двумя кухарками, приглашенными на праздник поставщицами яичек да маслица; обе были уже подвыпивши изрядно деревенской бражки да наливочки. Щеки у них разгорелись, в глазах любопытство; будет о чем завтра пересказать в лавочках.

— Ну, а сама-то ведьма, мои бабоньки, стала, по лесу ходя, зверье скликать, на людей напущать, — поплыл дальше бабий разговор.

— Что же ваши мужики ее не окоротят, — заговорила опять степенная Дмитриевна, приехавшая на праздник к Афросиньюшке, за сына которой по весне выдала свою дочку и о судьбе ее очень беспокоилась, услыша о шалостях ведьмы.

— Бабенка-де она молодая, опять же тяжела первеньким, долго ли ее напугать.

— И что ты, милая! — возразила ей Аграфена. — Нешь можно ведьму окоротить. Она те окоротит, порчу на все село пустит!

— Да уж и пустила, — раздался старушечий голос. — У Демьяна-то почему конь пал? Раздулся сердечный и лопнул.

— В рожь не зашел ли, али в бобы, — благоразумно заметила Дмитриевна.

— Какая те рожь да бобы, — разобиделась подвыпившая старуха.

— А куры почему дохнут? Почнет тебе белым гадить, заскучает и сдохнет. Тож ото ржи по-твоему?

— А курица петухом у Матрены запела. Это почему, по-твоему?

— И свиньи вон зачали дохнуть, тож неведомо с чего, — раздумчиво покачала головой Марья.

Тут оборвалась раздававшаяся издали песня, умолкла гармоника и нестройная толпа парней и девок показалась за селом на опушке леса.

Через четверть часа они были уже у своих хат и клялись и божились, что по лесу ходит черт.

Парни были бывалые; почти все ходили по зимам на заработки в Москву, и все же на двух из них лица не было. Поднялись с бревен мужики, обступили молодежь и начали усовещивать парней.

— Что вы, бабы, что ль? О чертях рассказываете? И так уж от ихних глупостей места нет, ребятишки боятся нос высунуть за околицу; за грибами и не посылай, а теперь на них самый спрос!

— Дядя Ермолай, — заговорил трясущийся с ног до головы самый разбитной из всех парней — маляр Васютка, — вот те хрест, его, окаянного, видел!

— С пьяных глаз тебе, видать, непутевое привиделось. Где он тебе показался?

— В лесу, дядя Ермолай, не будет и версты отсюда. И не один я, значит, а целой конпашей шли; только я по надобности отделился немного в сторону, в кусточки, да на него прямо и напоролся!

— Окстись, дурной! Какой же он из себя-то?

— Ростом быть не особо велик. Сам черный, а руки, ноги, да рога красным огнем горят; длинный хвост по земле стелется.

— Ну и что ж он тебе?

— Не своим я голосом закричал и давай Бог ноги!

— Назад, значит, как бегли, то его еще Митька видел; на березе сидит, качается!

Гробовое молчание среди мужиков; разохались и разо- хались бабы.

— Ну, закудахтали, — прикрикнул на них Ермолай. — Никшните, а то добьетесь, что ребятишки в доме не останутся, когда завтра в поле пойдете!

Притихли мужики и бабы... Торопливо попрощались кухарки... Расстроился так хорошо начавшийся праздник.

Глава XXVIII

Карьера Бобки

Унесли на кладбище милую старушку и затих, нахмурился так недавно гостеприимный, веселый, беленький дом. На среднем окне по-прежнему висит канарейка, но не поет уж с восхода до заката солнца и часто сидит, нахохлившись. Перестал умильно на нее поглядывать Пушок. Он сам тоскует по ушедшей куда-то хозяйке и ни за что не обидел бы в ее отсутствие канарейку. Пусть себе сидит в своей клетке, я не хочу огорчить добрую хозяйку, когда она возвратится, да и птиц этих летает в саду сколько угодно; только нет у него больше желания за ними охотиться. Он совершенно спал с тела от кормежки Оксаны и, если бы молодой хозяин не наливал ему на блюдечко сливок, когда сам пьет так остро пахнущую жидкость, ему пришлось бы очень плохо.

— Говорят о нас часто: ловите мышей! а хотел бы я, чтобы какой-нибудь человек попробовал посидеть, как дурак, не шевелясь и почти не дыша, над норкой час или два, — а мышь возьмет, да и не выйдет! Хорошую бы он скорчил гримасу, я уверен. Заветнейшее мое желание заставить ловить мышей Оксану. Ну, для такой ли жизни я воспитан? Я, привыкший валяться по мебели и кроватям, меняя место по своему капризу, есть разнообразное сырое мясо, пить сливки, и, как одолжение, попробовать особо вкусный суп, и вдруг все это кончилось! Я предоставлен самому себе, — глубоко вздохнул Пушок.

По комнате деловито прошел Бобка, посмотрел на пригорюнившегося Пушки, с которым еще так недавно со звонким лаем по целым часам носился по комнатам и саду, и жаль ему стало старого товарища веселых игр.

— Перестань бесплодно скучать, Пушок, — ласково подвизгнул Бобка, виляя хвостом. — Хозяйки не вернешь, нужно приспособляться к иной жизни!

— Почему тебе кажется, что она не вернется?

— Если бы ты не прятался от одетых в черное чужих людей, приехавших на невиданном экипаже, запряженном лошадьми в черных пополах, а побежал бы, как я, за ними, когда они поставили на эту колесницу ящик с хозяйкой, то увидел бы страшную, невиданную картину. Знаешь ли ты, что они заколотили этот ящик, где лежала, вся убранная цветами, наша милая хозяйка, и зарыли ее в глубокую, глубокоу яму...

— Я ушел потому, — не признался в своем страхе к одетым в черное людям кот, — что этот несносный старик в сияющей одежде снова накадил в комнатах каким-то пахучим дымом. А если ты бежал до самой ямы, где ее зарыли, почему не сказал мне? — мы бы общими силами попробовали освободить ее ночью, пригласив на помощь кривоногую безобразную Мими, за которой ты без стыда бегаешь, и если бы не боялся хлыста ее хозяйки, то..

— Не будем считаться, — перебил Бобка, — я остался там, пока все не ушли из этого сада, и принялся раскапывать яму. Неужели ты не заметил, что я не возвратился до утра. Я всю ночь, почти без отдыха, копал и докопался уже глубоко!

— Ну и что же?

— Чуть свет обходил сад человек, который ее закапывал, кричал неслыханные слова и опять привел все в прежний вид. На следующий вечер я вернулся к этой страшной яме, но и этот ужасный человек спрятался где-то близко, и едва я увлекся работой, а главное, углубился в землю, он набросился на меня. У меня долго не заживала перебитая нога!

— Так вот почему ты лежал два дня, а потом долго скакал на трех лапах. О, тогда я ни за что не пойду ее откапывать... пусть лежит там, сколько ей угодно. А как ты думаешь дальше устраивать свою жизнь?

— Что ж моя жизнь! нужно мириться с тем, что есть. Хозяйка очень любила своего сына, да и он часто ласкал тебя и меня; будем служить ему изо всех сил!

— Фыр-фр-фр, — презрительно засмеялся кот, — служить ему за блюдечко сливок, да еще изо всех сил! О, я не так глуп, можешь этому верить!

— Что же ты собираешься предпринять?

— Я уже предпринял!

— Поделись со мной, если не секрет.

— Какой же секрет, когда я делаю это открыто. Вот уже несколько дней я осматриваю соседние дома. Не забывай, что я чистокровный ангорец; посмотри на мою шелковистую длинную шерсть и на широкий, увенчанный кисточкой хвост; во всяком доме меня примут с восторгом. Меня уж несколько дней ласкают и кормят вкусными вещами дети из большого серого дома; но я не хочу жить, где есть эти дети: они вечно пристают и не дают полежать спокойно. Я приглядываю, нет ли где дома, как был у нас, и если найду, в тот же миг переселюсь!

— И не жаль тебе старых друзей!

— Друзей? Фр-фр-фр. Как ты наивен! Люди — самые благодарные существа на свете, и я имею этому неоспоримое доказательство!

— Какое?

— А ты разве забыл Белянку? Сколько раз мы слышали, как ее называли кормилицей семьи; и на самом деле: какими прекрасными сливками она нас кормила; какое молоко, какой творог мы ели — и помнишь ее смерть?!

— Нет, меня тогда нечаянно заперла в чулан Оксана!

— Ну и счастье твое. А я в то время сидел на сеновале и видел в щелку все!

— И что же?

— Белянка была очень больна, лежала на боку и стонала. Пришел чужой человек и длинным блестящим ножом

перерезал ей горло!

— О, как ужасно! Может быть, этого не знали наши хозяева?

— Не утешайся, мой милый, хозяйка следила за тем, как ее закапывали в яму!

Громкий звонок прервал их разговор.

Пришел Зенин.

С радостным визгом бросился к нему Бобик, стараясь достать и лизнуть ему руки. Кот презрительно щурился... Зенин с тоской оглядел комнату. Как без мамы все стало пусто и грустно... Бедные животные; вы тоже заброшены, нет вашей баловницы, а я редко бываю в доме!

Отстранив рукой радостно прыгавшего Бобика, просунул сквозь прутья клетки палец, погладил канарейку, посмотрел, есть ли у нее вода и корм и, нагнувшись к свернутому клубочком пушистому коту, нежно погладил его по спинке, и, посадив его к себе на плечо, прошел в кабинет.

Из кухни раздавалась тягучая заунывная песня:

Ах, як болит мое сердце,
Сами слезы льются...

... — Бедная, веселая Оксана, и она теперь поет только о слезах и горе. Как бы в подтверждение его мысли, Оксана продолжала:

Где ты милый, чернобривый,
Где ты, отзовыся,
Тай на мою злую долю
Прийди, подывыся!

— Нет, я больше этого не могу! — вскочил Зенин. — Лучше уйти из дому!

В это время раздался звонок, и пришел Орловский. Сброшенный с колен Пушок сердито взглянул на молодого хозяина, презрительно отряс лапки и ушел спать на мягкий диван. Зенин приказал подать чай, и полилась между друзьями деловая, захватившая их беседа. Бобик сел на зад-

ния лапы и, не спуская глаз с хозяина, старался понять его слова и быть готовым исполнить всякое его приказание.

* * *

— Вот, посмотри, что я нашел в карете Данилова под сидением, — вынул Зенин из ящика стола тонкий носовой платок без всякой метки; он издавал странный запах: очень легкий, но усыпляющий.

— Смотри, не нюхай сильно, — протянул он платок Орловскому, тот осторожно понюхал его и положил на край стола.

— Запах так слаб, что его мог свободно не почувствовать Данилов, садясь в свою всегда надушенную карету!

— Но тогда кто-то должен был открывать эту карету, а бедный Васильев утверждает, что он не отходил от автомобиля и не спал!

— Да, бедняга делает все, чтобы погубить себя; с тем большим усилием мы должны искать истинного виновника!

Под шум разговора Бобик, понявши, что для его хозяина громадную важность составляет запах вынутого платка, подошел к столу и, прижавшись носом к платку, сильно потянул воздух. Исходивший от него запах одурманил бедного пса, и он не раз и не два сильно чихнул и даже потер нос двумя лапами. Оба друга невольно расхохотались. Но когда отчихавшийся Бобик хотел еще раз приблизиться к платку, Зенин прикрикнул на него, отгоняя прочь.

— Почему ты его отгоняешь? Я часто следил за его взглядом: он у него поразительно смывленный, а привязанность к тебе огромная. Почему не попробовать воспитать из него полицейскую собаку?

— Э-э, шутишь, мой милый. Это был простой щенок, когда мать подобрала его на улице — и теперь в нем определилось больше дворняжки, чем волка!

— Вот такая-то помесь часто дает хорошие результаты. Взгляни, как он порывается подойти к платку; почему не даешь ему еще раз его понюхать?

— Пусть будет по-твоему, — улыбнулся Зенин, — от этого мы, право, мало потеряем!

— Нюхай! — указал он Бобке на платок. Только этого ожидавший Бобка бросился к столу. На этот раз издали и осторожно, но долго и тщательно нюхал платок. Собачья морда ясно выразила раздумье.

— Что за диво; платок имеет двойной запах. Один какой-то вредный, другой — просто запах человека!

Еще раз потряс головой, отчихался и понюхал одежду сначала своего хозяина, потом Орловского и виновато завизжал: ни тот, ни другой не напоминали того запаха. Так и поняли это Зенин с Орловским и с этого дня решили натаскивать Бобика на разные следы, другими словами, давать ему полицейское образование. А для начала Орловский почему-то еще раз дал ему понюхать платок с приказанием «ищи».

Карьера Бобки была решена.

Глава XXIX

Неожиданное открытие

Откинувшись в своем кресле, в глубокой задумчивости сидит Кнопп, напротив него Зенин и Орловский выжидательно молчат. Они сами, впрочем, скорее погружены в какую-то думу, чем ожидают вопроса или указаний начальства.

Вяло и неохотно взял со стола Кнопп представленный ему накануне список лиц, с которыми сталкивался или в чьем обществе пребывал Данилов непосредственно перед смертью, внимательно просмотрел его и безнадежно взглянул на своих агентов.

— Остается все же Васильев, — казалось, говорил этот взгляд.

— Все перечисленные здесь лица находятся действительно вне всякого подозрения, — уныло возразил Зенин, уловив мысль начальника. — Разве только вот этот японский врач...

— О нем собраны сведения довольно общего характера, чисто полицейские сведения, — вставил Орловский. — Это прежде всего домашний или даже, вернее, личный врач леди Тольвенор. Он изучал тибетскую медицину, но кроме того, окончил медицинский факультет в Токио и Москве. Последнее дает ему право заниматься частной практикой, каковы бы ни были методы его лечения, и он принимает действительно пациентов у себя на дому от 4 до 6 три раза в неделю. Визит оплачивается дорого, вследствие чего пациенты Тахикары принадлежат по преимуществу к высшим сферам общества. Его лечение не напоминает приемов европейских врачей, но лечит он удачно, и злые языки приписывают удивительно сохранившуюся красоту леди Тольвенор обязательному присутствию Тахикары при тайнах ее туалета!

Если вы прибавите к этому, что он получает изрядное жалованье от лорда, прилично зарабатывает, скромн в привычках...

— Личность его становится вполне ясной, — усмехнулся Кнопп. — Ну, а м-р Карвер?

— Это богатый англичанин, повсюду и всеми любимый; он снимает особняк, принадлежавший уехавшим за границу Дарским, со всей обстановкой и штатом прислуги. Личная его прислуга — только камердинер-китаец Кай-Тэн. Этот бедняк не может даже попросить себе поесть, зная только китайский язык и несколько ломаных английских слов. Совершенно безвреден, как и вся остальная служба!

— Значит, с этим покончено. *Requiescat in pace*¹, — заявил Кнопп, запирая в стол список. — Теперь дело Потехиных? На точке замерзания?

¹ Покойся с миром (лат.). (Прим. изд.).

— Не совсем, Рудольф Антонович. Шофер на пути к выписке из больницы, но и сейчас не отдает себе отчета в картине взрыва. Ему показалось, что у него лопнули барабанные перепонки и даже сама голова. Перед глазами взвился огонь, промелькнули летящие обломки кареты и разорванные тела людей. Он боится утверждать, что среди этого ужаса он видел летящего человека и приписывает это галлюцинации. Сам Потехин впал в богомолие, близкое к «mania religiosa», и просит только об одном — предоставить на суд Божий совершенное злодеяние.

— Ну, этого-то мы не можем, хотя и не прочь были бы ввиду наличия двух новых кричащих убийств, Данилова и Мари Перье, — заметил Кнопп.

— Единственно, что по-моему следует, Рудольф Антонович, — скромно вставил Зенин, — это выделить дело Потехина и передать его другим агентам. Оно ведь не относится...

— К вашей серии, Зенин, — усмехнулся с добродушным ехидством Кнопп.

— Да, серии, начавшейся женой и дочерью Ромова, продолженной неизвестным ребенком и Дугиной и законченной пока Даниловым и Мари Перье, — задумчиво бормотал Зенин.

— Как вы относитесь к разным привидениям, разгуливающим чуть не по самым Боркам? — вдруг спросил Орловский.

Начальник полиции усмехнулся с жестом легкого пренебрежения.

— Это безобразие нужно прекратить, оно начинает волновать слабые умы. В сущности, это не дело сыскаго, но так как Борки являются театром наших расследований, то я поговорю с г. градоначальником...

— В таком случае осмеливаюсь попросить вас отложить этот разговор и дать привидениям погулять денька два-три.

— Почему эти призраки избрали ареной своих выступлений Борки? — горячо продолжал Зенин под устремленным на него вопросительным взглядом начальника. — Ины-

ми словами, почему это все происходит вблизи резиденций Бадени и этого Прайса?

— Черного барина!

— Больше, чем когда-либо, я готов идентифицировать эту таинственную фигуру с Прайсом...

— Но ведь у вас нет никаких указаний в пользу того...

— Никаких, Рудольф Антонович, — поспешил признаться Зенин, — как нет ничего и против. Прайс по-прежнему личность загадочная, а его alibi в каждом случае убийства, относящегося к нашей серии, все же чисто отрицательное. В каждом из вышеупомянутых случаев он был где-то, и только полное отсутствие иных реальных указаний мешает нам припереть его к стене. Только ночь убийства Перье и Данилова Прайс был дома и провел время в обществе лиц, чьи слова не могут вызывать ни тени сомнения. Наш уважаемый г. прокурор..

— Мне это известно, Зенин, — перебил Кноп, вдруг став очень серьезным и озабоченным. — И я боюсь, не ошибаетесь ли вы. Пусть там Прайс спирит, ясновидящий, черный маг; даже это не делает его преступником с точки зрения кодекса. А того, что в ночь типичного убийства Данилова и Перье он был в обществе лиц, нам хорошо известных, не уничтожает ли оно одним ударом всей постройки ваших умозаключений!

— У них могут быть сообщники, — не сдавался Зенин. — Я не знаю, Рудольф Антонович, какое-то внутреннее чувство говорит мне, что Прайс и даже пресловутая графиня «Но» преследуют какие-то тайные преступные цели. Вот поэтому-то эти привидения в Борках и не дают мне жить; я чувствую тут сообщников и боюсь, что вмешательство двух-трех неловких полицейских испортит все дело; я уже завел кое-какие знакомства среди прислуги Данилова, Бадени, лорда; нужно укрепить их, проследить еще кое-что.

— Поэтому вы и просите повременить с разговором с г. градоначальником. Пусть будет по-вашему; дадим еще привидениям погулять немного. Ну, расследуйте, а вы, Орловский, попробуйте поискать еще чего-нибудь тут в Москве, — протянул им на прощание руку начальник полиции.

У подъезда встретил Зенина в последнее время не отстававший от него ни на шаг Бобка. Ласково погладил его по голове Орловский.

— Что, Бобка, поступил в розыск на службу? — шутливо спросил он собаку. Та учтиво лизнула ему руку и помахала хвостом. От громкого бессмысленного лая собака уже отучена, а если нужно, умеет ходить, не производя ни малейшего шороха. Почти безошибочно идет по следу нарочно взятой кем-нибудь вещи. Вообще, Зенин гордится его быстрыми успехами и привязался к своему псу, хотя и походил тот на дюжину собачьих пород, от которых взято все самое безобразное. Даже уши у него были разные: одно острое, торчащее, как у волка, другое повисло бессильно черной тряпочкой.

Орловский предложил перед началом работы пообедать у него на квартире. Через час друзья, по привычке быстро окончив обед, разговорились только за заключительной кружкой пива. Уходя от Орловского со Спиридоновки, задумавшийся Зенин сам не почувствовал, как очутился в Гранатном. Вероятно, прошел бы и его, не отдавая себе отчета, где он идет, если бы вдруг сделавший стойку Бобка не разбудил его от дум своим легким повизгиванием.

— Что ты, Бобка?

Он поднял глаза на дом, перед которым остановилась собака, и поразился. Это был особняк, занимаемый Карвером, и последнее местопребывание Данилова перед трагедией.

— Ищи, — решительно показал он Бобке на землю.

Собака отбежала от подъезда, беспорядочно пометалась по дороге и снова с легким визгом бросилась к парадным дверям.

— Что за диво, — подумал Зенин. — Кого чует собака? Ведь не могу же я на основании его визга осмотреть помещение. А что-то есть!

Беспомощно стоял сыщик у подъезда; виновато повизгивал Бобка.

Зенин едва успел отскочить в тень спускающихся из соседнего сада веток перед грозным ревом въезжающего в переулок автомобиля.

Лишь только последний остановился у подъезда дома Карвера, двери распахнулись, и позади швейцара показалась характерная фигура китайца. Без всякой помощи эластичным прыжком выскочил Карвер. Замер перед открытой дверью швейцар, низко, в восточном поклоне, склонился улыбающийся китаец, вдруг...

Прекрасно дрессированная собака Зенина таким же эластичным прыжком перелетела улицу, прежде Карвера вскочила в подъезд и, мельком нюхнув швейцара, буквально вцепилась в китайца. Оглядываясь на каждый окрик Зенина, Бобка снова и снова бросался на свою жертву. Еле-еле, общими усилиями выгнали пса из подъезда. По требованию разгневанного англичанина был записан адрес Зенина с угрозой жестокой расплаты за гуляние по улицам с таким опасным псом. Извинился смущенный Зенин, решая в уме не спускать с китайца глаз. Непроницаемой была мертвая маска чрезвычайно обеспокоенного Кай-Тэна, который понял, что полицейская собака напала на какой-то из его следов.

Переступая порог парадной двери, Зенин инстинктивно обернулся и поймал злобную улыбку на лице Кай-Тэна.

— Где я уже видел подобное лицо? — Зенин погрузился в архивы своей памяти, и вдруг ему вспомнился Прайс и сеанс ясновидения. Это, бесспорно, лицо Кай-Тэна мелькнуло тогда перед ним на экране. Дом на Гранатном хранит важную тайну, и ее необходимо разгадать. Вдруг новое видение молнией озарило мозг.

— Ящик, обитый материей! Автомобиль Данилова и в нем мертвец в той самой позе! Наконец, путь. Спасибо, Бобка!

Чуть не бегом бросился Зенин обратно на Спиридоновку искать Орловского.

Глава XXX

У доктора Тахикары

Четверг — приемный день у доктора. Небольшой особняк в Скатертном переулке не имеет швейцара. В передней больных ожидает безукоризненный лакей-японец.

Пять часов вечера. Подъехала наемная карета, из которой отставной военный высадил одетую в темное манто, согнутую, болезненно стонущую даму. Подошел, прихрамывая, прилично одетый господин. Подкатила в наемном автомобиле нежно воркующая парочка. У дамы была забинтована левая рука.

Все эти люди поочередно входили в подъезд, но в кабинете доктора, имевшем три выхода, происходила странная метаморфоза их внешностей. Стонущая дама, сняв длинное манто, оказалась молодым человеком в спортивном костюме, комично завершавшемся дамской шляпкой. Нежно высаживавший даму военный не обращал более на нее внимания, ворковавшая пара не замечала друг друга. Скромно одетый хромающий господин заговорил голосом Карвера и завладел исключительным вниманием собравшихся.

В кабинете были закрыты двойные окна, спущены тяжелые драпировки. Дневной свет улицы представлял резкий контраст с комнатой, ярко освещенной электричеством. Случайно забредшего пациента лакей провел бы в строго обставленную приемную, предварительно дав знак доктору вспышкой красного света.

— Наше совещание не должно быть продолжительным, — начал Карвер. — По поручению лорда сообщая вам, что на какой-то из следов Кай-Тэна напала полиция.

Рассказав вкратце эпизод с китайцем, он передал приказание лорда взять под осторожную, но неустанную слежку агента Зенина, наружность которого точно описал, и агентов, несомненно, приставленных к домам самого Карвера, доктора и, может быть, и лорда. Приступили к распределению ролей:

— Вас, m-lle Нольская, с помощью грима и несходящей от воды краски, загара — доктор превратит в крестьянскую девушку, и вы, под предлогом продажи ягод, постарайтесь пробраться в дом Зенина и выпытать у прислуги о его привычках и, главное, друзьях. Вы, господа Крылов и Зигель, — кивнул Карвер на отставного военного и его супругу, — завтра в разное время и под разными предложениями войдите в мой дом и там получите дальнейшие инструкции. А вы, г. Бритман, потрудитесь, отвезя свою даму, заняться вопросом, интересуется ли кто-нибудь особой нашего милого доктора. С отчетом о ходе дела явитесь в квартиру артистки Элеоноры, — Тверская, гостиница Бристоль, 74. Предупреждаю, господа, особенно остерегаться собаки Зенина. Это простой безобразный пес, но, кажется, отличается редкой чуткостью. Теперь позвольте раздать вам малую толику денег и передать весть, что на этих днях в посольском вагоне отправляются за границу камни на колоссальную сумму. Там их очень скоро превратят в деньги. Пока же, пожелав вам успеха, предлагаю незаметно, сохраняя принятые на себя роли, расходиться по домам.

Первым осторожно свел со ступенек крыльца свою еле передвигающую ноги больную супругу — отставной военный.

За ним, соблюдая очередь, разошлись остальные.

* * *

Позже всех вышел скромно одетый хромающий господин, и почти одновременно с ним в противоположном поезде показались две юных гимназистки и, с звонким смехом перебежав дорогу, очень скоро опередили его, едва удерживая на тонкой цепочке прекрасную черную собаку. Никто из больных Тахикары не заподозрил в собаке Нептуна Орловского, а в одной из гимназисток его сестру.

Глава XXXI

Бесславная смерть

Ничто не нарушает предрассветной тишины всегда безлюдного Гранатного переулка. У забора большого сада, под ветками громадной липы неподвижно стоят два человека. Они замерли... слились с забором.

— Пора, — шепнул один из притаившихся, и на освещенный тротуар вышел Зенин. — Еще один незаконный обыск! Эх, Владимир, дурное у меня предчувствие, хоть и затеял этот поход я сам.

— Ведь мы сегодня не войдем в дом. Важно осмотреть его со стороны сада, куда выходят все жилые комнаты, и снять восковой оттиск замка!

— Я знаю, что работа плевая, а старая свесившаяся липа облегчит способ перебраться в сад. Ну, караул мой воздушный путь и пьяным мурлыканием песни дай знать, если явится необходимость обратного возвращения!

— Уж и правда, не оставить ли затею, Александр, — хотел попридержать Орловского Зенин. Прыжок, шелест ветки, шепот «до скорого свидания», и Орловский скрылся в густых ветвях липы.

Замер на своем сторожевом посту Зенин. Минуты ему тянутся часами. В мозгу и сердце одна мысль, одно безумное желание: «скорее бы».

В аллее столетних лип почти темно. Ветки сплелись сплошным сводом и не пропускают света уличных фонарей. В их гуще притаился Орловский, обдумывая возможность передвижения по деревьям. Сонную тишину сада начал нарушать шелест веток под тяжестью человеческого тела. Аллея тянется почти до самой террасы, перед которой разбит большой прекрасный цветник.

— Пора слезать! А жаль; на песке останутся следы, да и место открытое, как бы не увидели из окон!

Осторожно спустился. Идет по самому краю дорожки, едва ступая на мыски. Вот и терраса. Остановился у колон-

ны перевести дыхание. В окнах темно, в доме, по-видимому, спят. Какой соблазн проникнуть туда; невольно он опущал в кармане отмычку. Нет, нельзя... Можно подвести не только себя, но и Зенина, да еще наделать больших неприятностей Кноппу.

Неслышным, кошачьим шагом перешел, нагрел, разминая в руках, воск, нащупал замочную скважину, нажал, и... О, ужас! Дверь бесшумно распахнулась. Яркий сноп электрического света залил его с ног до головы; четыре сильных руки схватили его, не давая возможности не только уйти, но даже пошевелиться. Зажатый рот лишил возможности дать криком знать Зенину об опасности.

— Кого вы поймали, г. Крылов? — раздался спокойный голос с легким иностранным акцентом, когда за втащенным вовнутрь дома Орловским закрылась дверь.

— Красного зверя, г. доктор, которого я еще вчера приметил у вашего дома!

— Прекрасно! Через час он навсегда будет безвреден!

— Ради Бога, — простонал кто-то в соседней комнате.

— Э, вы очень сентиментальны, сэр Эдуард. Слушаясь вас, мы давно уже были бы... под замком!

Не имея возможности кричать или протестовать, Орловский с ужасом смотрел на японского доктора. Тахикара, весь расплываясь в улыбку, не торопясь вынимал шприц и небольшой флакон.

— Не бойтесь, милый русский шпион; это совсем безболезненно, а умирать все равно когда-нибудь нужно. Разденьте!

Почти нечувствительный укол в позвоночник. Крошечная ранка напоминала совершенно укус блохи. Ужас в глазах Орловского постепенно угасал; его заменял покой небытия...

Через четверть часа на полу лежал труп. В комнату вошел Крылов, уже одетый в костюм шофера. Прекрасно замаскированный выход на другую улицу остался незамеченным Зениным и Орловским; через него-то Крылов и Зигель вынесли труп последнего.

В тиши ночи чуть долетало до Зенина отдаленное урчание мотора, но он не придал ему никакого значения, не предполагая, что с ним его друг шлет ему привет, но уже обещает не «скорое свидание, а вечную разлуку».

— Как время тянется медленно, как нестерпимо медленно, — повторил он в мыслях. — Вот уже рассвет, а об Александре ни слуху, ни духу. Перелезть самому? Нет смысла; в саду его, наверное нет; нечего там делать так долго... Была не была; испробую условленное средство!

...И в тихом переулке раздалась пьяная песнь. Какой-то запоздалый кутила пишет вензеля по тротуару. Споткнулся... сел на тумбу.. Мертвое молчание кругом. Вся кровь прилила у Зенина к сердцу.

— Попался, бедняга!

Идти на выручку, попытаться шального счастья, рискнуть?..

Быстро решившись, подошел к подъезду и сильно, властно нажал кнопку.

Заспанный швейцар не сразу открыл дверь. Зенин протянул ему свой полицейский значок и потребовал осмотра помещения.

— Мистер Карвер дома?

— Так точно; только они со вчерашнего дня занемогли и при них неотлучно доктор.

В швейцарской появился Кай-Тэн. Его угрожающе поднятый палец требовал тишины. За ним стоял лакей.

Ничего не понимая, провели они Зенина по всему дому, поочередно освещая комнаты. Чуть приоткрыли дверь и к больному, который неподвижно лежал, повернувшись к стене. Воздух комнаты был пропитан запахом лекарств, на кушетке спал одетым доктор Тахикара.

С нечеловеческой тревогой в душе возвращался домой Зенин.

На следующее утро в Богословском переулке, у крыльца своей квартиры, лежал Орловский. Ни малейших следов насилия на нем не было найдено. По определению врача, он умер от разрыва аневризмы.

Глава XXXII

Излишнее усердие

В сыском отделении переполох. Если случалось прежде, что из кабинета Кноппа выскакивали красные, как рак, дежурный или служащий, вплоть до начальников отделений, то сегодня все выходят, как мел, белые.

В первом случае, если Кнопп выгонял кого-либо со службы в 24 часа, то через 28 часов, если только это был подвернувшийся в крутую минуту несчастливец, можно было смело о нем доложить, и Кнопп не задумывался не только принять уволенного обратно, но часто и извиниться перед ним. Любили и глубоко уважали его все служащие без исключения, хотя за вспыльчивость и называли «чертушкой».

Сегодня «чертушка» решил по щепам расколоть весь уголовный розыск и расшвырять его по свету так, чтобы и заступиться за невинных некому было. Опять разослал по всей Москве разыскивать Зенина; на этот раз не потому, что тот долго пропадал; наоборот, он был только вчера, и не радость ждет начальника от его прибытия, а просто надо сорвать на ком-нибудь какую-то боль, гнев и унижение.

Начальник канцелярии шепотом рассказывает остальным служащим, что сам отнес в кабинет секретный пакет из Петербурга и, когда Кнопп снял печати и пробежал первые строчки, на нем лица не было, а окрик «можете уходить» был таков, что он чуть лбом не разбил двери.

Теперь Кнопп мечется по кабинету буквально как зверь, но зверь раздраженный, доведенный до последней степени ярости. Сейчас уже приказано убираться в 24 секунды со службы двум курьерам и служителю, всегда убиравшему его кабинет. А за что? «Чертушка», носясь по кабинету, зацепился за кресло, ну и полетел со службы Андрей, не научившийся за десять лет убирать кабинет и ставить мебель на надлежащем месте.

— Господи, что-то будет дальше? Помяни царя Давида и всю кротость его, — шепчут перепуганные чиновники.

— Что случилось, господа? — раздался спокойный голос вошедшего Зенина. — Вообразите себе, господа, — искренне расхохотался он, — наш милейший Чарский додумался искать меня с полицейской собакой! Если бы об этом узнал какой-нибудь репортер, как бы дорого заплатил он за подобное известие!

Из кабинета раздался продолжительный оглушительный звонок. Все переглянулись; ни у кого не было охоты идти на зов. Казалось, легче, если выгонит всех вместе, только бы не войти к нему одному.

— Что это у вас сегодня ни курьеров, ни дежурных, — удивленно оглянулся Зенин.

На него только зашикали и замахали руками... А звонок все трещит и трещит.

— В таком случае, пойду я; кстати, он меня и искал с собаками, — спокойно сказал Зенин, направляясь к кабинету.

— Остановись! Пропадешь! — слышал он за собой сочувственно-тревожный шепот.

Но Рубикон уже перейден. Страшная дверь открылась и закрылась. Звонок в тот же миг замолк, и затаили дыхание все служащие. Зенина встретило искаженное злобой и какой-то невероятной внутренней мукой лицо Кноппа.

— Вам кто же дал право входить так без доклада? — прозвучал саркастический вопрос. — Или, быть может, его вы получили за свои ценные заслуги? Или, быть может, мечтаете попасть на мое место? — Мой трон, — толкнул он ногой свое кресло, — шатается; днями я сам подаю в отставку, но вам занять его... поверьте... не удастся. Да и не советовал бы я, по старой дружбе!

— Рудольф Антонович, от вашей отставки да избавит Бог московский розыск; а войти я осмелился потому, что меня по вашему приказу всюду ищут...

— А дежурные и курьеры все попрятались, дышать из-за «чертушки» боятся, это вы хотите сказать?

— Я очень извиняюсь за смелость самовольного входа, но являюсь по приказанию своего начальника, — спокойно повторил Зенин. На минуту водворилось молчание.

Кнопп разглядывал стоящего в почтительной позе Зенина, как будто в первый раз его видел. Гнев его постепенно угасал, но усиливалось выражение внутренней боли...

— У вас, Зенин, есть маленький домик и при нем сад, полный цветов. Советую вам с этого дня посвятить свою жизнь разведению огурцов, ни на что иное вы не годитесь!

Зенин никогда не слышал из уст своего начальника столь резкого осуждения даже каких-нибудь частных своей служебной деятельности, и вдруг такое жестокое огульное мнение!

— Но это не все, — продолжал Кнопп. — Все ваши прежние удачи — лишь слепой случай. Поступки чистого разума — глупость... Репутация же ваша?.. вот, читайте!

Перед глазами Зенина плывут подчеркнутые красным карандашом слова «Новостей дня»: «Правая рука начальника сыскного отделения, Зенин, точно стакнулся с преступниками, так легко они от него ускользают». Итак, возможно ли с этими данными, да еще с подобными подозрениями, занимать столь ответственный пост!

— Такая оценка со стороны опытного, добрейшего и разумнейшего начальника имеет неоспоримый вес, а потому, услышав ее, я отвечаю: не только невозможно, но прямо преступно. С этого момента я прошу принять мою просьбу об отставке, а как честный человек, приношу вам глубокую благодарность за сердечное ко мне отношение, тем более, что оно не было даже заслужено!

— Ваша отставка принята, моя последует скоро, — каким-то надтреснутым, не своим голосом произнес Кнопп. — А на прощание, запомните правдивую русскую пословицу: «С сильным не борись, с богатым не судись». Что вздумалось вам, не посоветовавшись со мною, войти с поверхностным обыском? Приняли ли вы во внимание, что Карвер — личный друг лорда Тольвенора, жена которого родилась чуть ли не у самых ступеней английского трона. Телеграмма лорда вызвала запрос у нашего правительства...

Понимаете ли вы теперь, в какое положение меня поставили?

Заблестели слезы на глазах сознавшего свою ошибку Зенина. Жалкой улыбкой ответил ему грузно опустившийся в кресло Кноп.

Глава XXXIII

В кабинете лорда

Опять раскиданы газеты по всему кабинету. В качалке, закинув руки за голову, скрестив ноги, с блуждающей улыбкой на характерном симпатичном лице, чуть покачивается Карвер. Лорд, читая выдержки из газет, саркастически улыбается. Его флегматический характер наконец не выдерживает, свойственная ему холодная сдержанность исчезает с лица, и он раскатывается искренним неудержимым хохотом.

— Что привело вас в такое несвойственное вам проявление веселости? — спросил удивленно Карвер.

— Это выше всяких моих ожиданий, дорогой сэр Эдвард; это способно вывести из английского спокойствия даже мою сиятельную супругу, если б только она была так глубоко посвящена в суть дела, как мы с вами!

— Да, — выпрямился в своей качалке Карвер, — прошу в таком случае поделиться со мной вычитанной новостью. Не представляю известия, которое может вывести из спокойного равнодушия леди Тольвенор.

— Вот, прочитайте рассказец какого-то грошового репортера, который к сухому отчету об убийстве Мари Перье прибавил поэзии и описал ночь у подножия часовни Иверской Божьей Матери. Какое бесподобное выражение: «Такая погань у самой святыни». Хорошо, что наш милый Тахикара принципиально не читает русских газет, а то не особенно было бы ему приятно с его глубоким умом, выдающимися ловкостью и отвагой, умеющему, как дух, не оставлять сле-

дов ни на земле, ни в воздухе, и вдруг от глупой русской богомолки получить кличку и определение «погань». О, несравненный Тахикара! Неужели вы не согласны, что это может кого угодно вывести из равновесия?

— Тахикара говорил мне, что его очень беспокоила дальность расстояния для массового внушения, при наличии еще того обстоятельства, что мысли особ, подверженных гипнозу, были сосредоточены на чем-то ином, в данном случае на молитве. Он внушал им видеть гигантскую летучую мышь. Как видите, опыт все же блестяще удался!

— Тахикара недюжинный человек, — согласился лорд. — Согласитесь, что я умею выбирать людей. Кай-Тэн, например... Кстати, вам не приходится страдать от отсутствия настоящего слуги?

Карвер улыбнулся.

— Представьте — нисколько! Этот удивительный человек ни на секунду не выходит из роли, взятой раз на себя, даже когда мы остаемся наедине!

— Это он прodelывает и у меня, когда вы присылаете его с какими-нибудь поручениями. Этот китайский волшебник ни на секунду не изменяет себе даже в выражении лица или глаз. Последнему искусству и я, дипломат даже во сне, как меня называют, должен был в свое время обучиться! Я позволил себе выйти из равновесия по поводу глупой газетной статейки, а он никогда и ни при каких условиях не выходит из роли хорошо дрессированного слуги. Положительно, бесценный для нас человек. Никаких следов его визита к Перье. «Баулы оказались ненарушенными», а ведь он похозяйничал в них основательно, и вот результаты!

Щелкнул замок тайника, искусно вделанного в изящную раму картины Грёза, и из вынутого серого замшевого мешочка посыпались на стол броши, ожерелья, серьги, браслеты, кольца, в которых всеми цветами радуги переливались бриллианты, изумруды, сапфиры, рубины. Свесившаяся со стола нитка жемчужин не имела цены. Перье долго была возлюбленной миллионера Мартона, и за ее драгоценностями стоило поохотиться. Несколько минут лорд,

как знаток, любовался камнями; в руках глубоко задумавшегося Карвера мягкими нежными тенями отливали жемчуга.

— С ценностями Даниловой это составляет целое состояние, но как вы думаете их переправить? Ведь не любоваться же мы ими будем?

— О, нет, дорогой сэръ, любоваться ими я не собираюсь. Вы знаете, что здоровье леди Тольвенор расшаталось не на шутку. Она прекратила приемы и завтра выезжает в Петербург, а оттуда, уже в посольском вагоне, за границу. На этот раз едет второй секретарь Гранвилль, любезно предложивший проводить жену и дочерей. Кто же и где придирался к посольскому багажу; и в бауле с нарядами дочерей несравненный Кай-Тэн устроил секретную прятку. Кстати, ему тоже будет полезно проехаться за границу вместе с Тахикарой. Плод внушения последнего Перье повторила, умирая, и эти глупцы записали их в протокол. Русские черти и вампиры были нашими лучшими друзьями, но все же наступает пора оставить их, а самим распылиться. Кстати, в воздухе начинает чувствоваться тревога!

— Вы хотите отправить за границу их обоих?

— Их назначение — отвлечь внимание от жены.

— Кай-Тэн несравненный гравер и слесарь, невозможно обойтись без того и другого.

— О, мне удалось спасти от тюрьмы и ссылки одного русского; к нему качества Кай-Тэна надо будет приложить в превосходной степени!

— А как вы смотрите на глупые сказки о светящихся птицах и разгуливающих чертях? О них, вообразите, не стыдятся повторять за нянюшками и дамы из общества. Не далее, как вчера, m-lle Olga рассказывала, что, гуляя с братом по лесу, сама видела огромную светящуюся птицу!

— Вы сообщаете мне приятную новость. M-lle Ольга Кривская считается одной из самых образованных барышень местного общества и способна повторять подобные небылицы!

— Да, это поразительная черта у русских; у них самое высокое, утонченное образование уживается с невозможнейшими суевериями дикарей!

— Это, повторяю, главный козырь нашей игры. А светящуюся птицу я видел сам.

На этот раз потерял свое хладнокровие Карвер и, быстро встав с качалки, низко поклонился лорду.

— Да, дорогой мой, я уже давно охочусь за тайнами прилегающего к Боркам леса и вчера проследил полет светящейся птицы до гнезда или, вернее, до ее жилища. Очень сожалею, что не удалось встретиться с г. чертом; этот господин далеко не всякую публику удостоивает своим появлением, ну а птица, конечно, глупее!

— Вы поражаете меня, лорд, и я перестаю подшучивать над m-lle Ольгой и, пожалуй, если не буду поддакивать ей, то во всяком случае глубокомысленно молчать. Не могу же я лорда и завтрашнего пэра Англии ставить в неловкое положение, раз он не только видит фантастических птиц, но даже ищет знакомства с русским чертом, чем и подтверждает само его существование!

— Вы и должны глубокомысленно молчать, дорогой сэра Эдуард. С этого вечера вы гуляете со мной по лесу и неизвестно мы останемся в нем на ночь; быть может, удастся встретиться с чертом!

— Всегда к вашим услугам, — еще раз поклонился Карвер с чуть заметной улыбкой на губах.

— Не утруждайте себя поклонами и не скрывайте своей саркастической улыбки. Я, конечно, далек от веры в нечисть, но я вижу необходимость для кого-то отпугать от себя праздную публику. Боюсь, чтобы кто-нибудь иной не прекратил игры. Нам важно пополнить ряды сотрудников новыми, неподкупно преданными людьми; и если им нужна эта игра, то мы только выведем ее из такого первобытного русла.

Глава XXXIV

Охота за нечистью

В сумерки прекрасного летнего вечера лорд Тольвенор и его друг сэръ Эдуард Карвер шли в направлении леса медленным шагом гуляющих людей. Но едва лесная чаща скрыла их от возможного наблюдения дачной публики, они ускорили шаг и пошли целиной леса по тому направлению, где, по слухам, чаще всего появляются всяческие страхи. Они шли, громко разговаривая, и умышленно делали круги вокруг хатки, до которой днями лорд проследил светящуюся птицу.

— Однако, мы заблудились, пора подавать голос; быть может, кто-нибудь придет нас выручить.

— Прекрасно сказано, — ответил по-английски лорд. — Если за нами следят, то из страха, что мы привлечем людей, скоро появится какая-нибудь нечисть!

Как бы в ответ на его замечание, издали донесся призывный окрик. Англичане пошли на него. От времени до времени крик повторялся, но все отдаляясь и меняя направление: кто-то умышленно отводил их все дальше от жилища светящейся птицы.

— Ай, — вскрикнул падающий лорд.

— Что с вами?

— Зацепился за корень и, боюсь, вывихнул ногу, — со стонами боли ответил упавший.

— Какое несчастье! Попробуйте опереться на меня и как-нибудь дойдем до дому, — невольно по-русски же ответил Карвер и в ту же минуту почувствовал крепкое пожатие руки.

— О-ой, какая невыносимая боль. Я не могу пошевелиться!

— В таком случае, я должен пойти один и привести вам помощь; не можем же мы оставаться здесь до утра, ожидая случайного прохожего!

— О, нет, конечно, но...

— Еще у вас есть «но»?

— Да, и еще какое, — слабым стонущим голосом говорил лорд. — Сознаюсь со стыдом, что имею слабые нервы, а этот проклятый лес пользуется плохой славой; я же останусь не только одиноким, но и безоружным!

— Возьмите себя в руки, мой дорогой. В вас говорит сильная боль; мы близко от Борок, и через час я буду обратно с людьми!

— Идите, если нет иного исхода, но возвращайтесь скорей!

Карвер быстро зашагал по направлению Борок. Оставшийся лорд лежал не шевелясь, издавая по временам тихие болезненные стоны. Так продолжалось с четверть часа. Шорохи леса были единственным проявлением окружающей жизни. Вдруг перед глазами неслышно привставшего лорда мелькнула искра света. Через две-три минуты между деревьями шагах в двадцати от него показалась светящаяся фигура дьявола с красными рогами и шапочкой.

В тот же миг раздался выстрел из револьвера. Видение исчезло; по-прежнему таинственно шуршал лес.

— Неужели промахнулся? — озабоченно произнес лорд, зажигая электрический фонарь, на свет которого бежал Карвер. Ярко освещая свой путь, они приближались к месту, где промелькнула фигура дьявола, и вдруг натолкнулись на распростертую на земле, очевидно, женскую фигуру, завернутую в темный плащ.

— Неужели убита? — наклонились над нею оба.

Из голубых потемневших глаз глядел на них невыразимый гнев, смешанный с злым презрением.

— Не бойтесь нас, — мягко заговорил лорд, — мы не сыщики и не имеем никакого отношения к полиции. Буду безмерно огорчен, если нанес вам более серьезную рану, чем хотел!

Закутанная фигура не шелохнулась; глаза не изменили выражения, только все увеличивавшаяся лужа тускло поблескивавшей при свете фонаря крови красноречиво говорила, что англичанин, почти без прицела, умел метко стрелять. Осторожно развернул Карвер темный плащ, и перед

ним обрисовалось антично-стройное тело, туго обтянутое черным трико; снял безобразную, увенчанную рогами, гуттаперчевую маску и залюбовался представившимся чудным видением. Даже смертельная бледность не могла обезобразить прелестных аристократически-тонких черт лица лежавшей на траве девушки. Глубокая жалость наполнила его сердце.

— Не теряйте времени на бессмысленное упорство, миле, — произнес, наклоняясь над ней, всегда практический лорд. — Эхо моего выстрела разлеглось далеко; неужели вы в этом костюме пожелаете собрать вокруг себя праздную публику, из которой кто-нибудь может узнать вас?!

Гневный взгляд глаз смягчился выражением безграничной тревоги.

— Вот видите; я угадал, что вам это будет неприятно. Довожу до вашего сведения, что вплоть до лесного домика проследил натертую фосфором сову; уверен, что и вы там живете, а риск, которому вы себя подвергаете, разгуливая по лесу в таком маскарадном костюме, доказывает, что существует основательная причина отпугивать публику от окрестностей вашего жилища. Не имею намерения обижать вас, но должен сказать, что придуманные вами страхи наивны, и боюсь, что уже обратили на себя внимание снующих по Боркам сыщиков. На ваше счастье, последние не стоят в России на должной высоте; все же здесь убиты два миллионера, а это способно подстегнуть усердие любого сыщика. За себя и находящегося здесь моего друга даю слово английского лорда, что мы являемся вашими друзьями и, по причинам только нам известным, с удовольствием поможем вам и — вашему другу, — наклонился он к ее лицу, — оставить в дураках госпожу полицию. Итак, по рукам? Торопитесь!

— Да, и пусть покарает вас Бог, если обманете!

Лорд поднять на руки легкую, как перышко, девушку и сказал Карверу:

— Забросайте поскорее сухими ветками кровь и идите за мной; я помню дорогу! — При тщательном осмотре оказалось, что рана Наташи не опасна; бедная девушка поте-

ряла только очень много крови. Положили ее в единственную чистенькую и кокетливую в своей простоте ее собственную комнатку, в которой на постели метался все еще бессознательный Василий.

У Наташи и ее матери не оставалось выбора, и они чистосердечно рассказали все, начиная с нахождения израненного больного. Вырывавшиеся у страдальца фразы иллюстрировали и подтверждали рассказ. Лорд ласково провел рукой по золотистым кудрям Наташи и уверил ее, что с завтрашней ночи она, ее дорогой больной и мать будут недостижимы для полиции, и попросил приготовить все к оставлению жилища, но не набирать много вещей.

— Вы будете иметь все несравненно лучшее, — и со словами «завтра в 10 вечера я буду у вас», он повернулся к выходу.

Задержавшийся на миг Карвер взглянул на неподвижную Наташу взором, полным сочувствия и непонятной для нее тоски.

Глава XXXV

Паника

Ползут по Боркам слухи о всякой нечисти. Много, конечно, людей не верят им совершенно, но что поделать с нянюшками, которые забирают детей в душные комнаты тотчас по заходе солнца.

Как вы можете послать горничную купить что-нибудь случайно забытое, когда она щелкает зубами от одной мысли выйти вечером на улицу? Как запретить дворникам, вместе с дровами, вносить в кухню новые нелепые слухи, раз они божатся на икону, что своими ушами слышали большую музыку в заколоченной даче Потехина, видели над лесом светящуюся птицу по ночам, а были счастливы, что имели удовольствие познакомиться с самим чертом. Музыкальные вечера на кругу привлекают все меньше и меньше

посетителей. У кого дети боятся оставаться дома одни, а кто и сам, говоря по секрету, не хочет встречаться со всякой нечистью. Даже неунывающая, вечно гоняющаяся за сенсационными новостями Волжина начинала поговаривать о возвращении в город. Но как вернешься в Москву в начале июля?

Вот в эти-то первые числа июля, после жаркого, душного дня разыгралась к вечеру непогода, перешедшая в бурную, грозную ночь. Зигзагообразные молнии почти непрерывно бороздили небо, заливая своим ослепительным светом дачи, цветники и лес. От раскатов грома, казалось, разлетятся над головами крыши. Сорванные вихрем обивки террас фантастическими птицами летают по воздуху, хлопают сорванные с петель садовые калитки, чуть не до земли гнутся деревья, зловеще скрипят стволы темного бора, таинственно шумя своими лопастными ветками, и над всем этим, по крышам, дорожкам и листьям барабанит дождь.

Тррах-та-та-тах! — раздался непосредственно за молнией особенно сильный удар грома.

— Где то близко ударило, — невольно подумалось всем.

Борясь с дождем, смеясь над его тщетными усилиями, как сухая щепка загорелась пустующая дача Потехиных.

Прекрасно организованная пожарная команда главным образом отстаивала соседние дома. Дача же Потехина, загоревшаяся разом в нескольких местах, по народной молве, спалена в наказание Божие. Этого одного уже было бы достаточно для очумевших от всевозможных происшествий дачников, а тут еще ясное, погожее, такое ароматное после пролетавшей грозы, утро подарило их новой неожиданностью. Леди Тольвенор в дорожном туалете, сопровождаемая мужем, выехала, очевидно, навсегда, так как за ней в наемном автомобиле ехали нагруженные дорожными чемоданами ее камеристка и лакей. Через час ее выезд или, как выражались кумушки, бегство, подтвердилось. Перед подъездом остановились грузовики, и была вывезена вся обстановка. Внезапное исчезновение Бадени вызвало много толков, и лишь объявление войны, последовавшее спустя несколько дней, до некоторой степени объясняло бегство

венгерской графини. Эти события послужили сигналом, и потянулись в Москву возы и платформы, нагруженные вещами. К первому августа, несмотря на прелестную погоду, дачи были наглухо заколочены по-зимнему.

Глава XXXVI

Последняя встреча

Падают силы у Потехина.

Кое-как удалось ему замять дело по убийству Сережи, много, усердно поминал в церквях умершую жену, ночи напролет слезно молился в тиши своей спальни еще за кого-то, и все же душа его звала в даль, на простор, а тело требовало измора. Ликвидировал дела, закрыл дом до своего возвращения, а капитал положил в банк с распоряжением, на случай смерти или неявки своей в течение пяти лет, все передать Василию Власову Корунову, уроженцу деревни Пестровки и т. д., озаботился об остающихся служащих и ушел.

Идет давно почти без цели. Идет за своей душой, — а она без конца тоскует и куда-то тянет — все дальше и дальше. Был и в святых местах и опять идет, сам не зная куда. Ночует часто в лесу, под кустом, в поле на меже.

Сегодня встал рано; погода теплая, ясная. Дорога давно идет лесом; он не интересуется, куда она его приведет, ему все равно. Вьется дорожка душистым бором, над головой птичий гомон, на прогалинах обдает медовым запахом цветов; он идет, не замечая; из тела и глаза, и душа ушли. Дорога поднимается все выше и выше. Вот перед ним на горе монастырь. Высока и толста белая стена; за ней по скату горы кельи-игрушечки лепятся; между ними, желтея, бегут ленты дорожек; на самой вершине — церковь. На ней высоко большой ажурный крест. Солнце в него лучом ударило, яркими искрами рассыпалось. Чудится, висит крест прямо в воздухе. Стал ослепленный Потехин, глаза рукой

прикрыл, старается мысли собрать, а с колокольной сначала один несмелый, за ним другой, третий удар по воздуху поплыли, и полился призывный звон.

Потехин снял шапку и, осенив себя широким крестом, пошел на призыв колоколов.

Н-ский монастырь проснулся со светом. Матушка-игуменья давно встала и у себя в келье на молитве стоит. К ней в окно солнышко луч бросило; осветило, оживило распятого Христа, теплом пробежало по коленопреклоненной фигуре монахини.

В чистом утреннем воздухе колокола так весело, призывно звонят... Потянулись к церкви черные ряды монашек; затеплились перед образами лампады и свечи; тихо покашливая, размещается на клиросе хор; в алтаре облачается священник.

В широко раскрытую дверь, опираясь на высокий посох, входит закутанная до пят в черный креп высшего пострига величаящая игуменья. Не спеша, сопровождаемая глубокими поклонами, поднялась она на свое огороженное место и опустилась в высокое кресло. Ослабевшее сердце с силой колотится в груди; для нее стал уже тяжелым и этот незначительный переход.

Из алтаря раздалось благословение; заславословил хор, зашелестели мантии крестьящихся монахинь.

Тихо вошел одетый в костюм странника Потехин. Притягиваемый непонятной силой, прошел почти к алтарю; опустился на колени, упал головой на амвон и замер...

Заволновались было на непорядок монахини, но поднялась в строгом жесте рука игуменьи; и уж ничто не нарушало богослужения. Только вздрагивания плеч и вырывающиеся по временам вздохи свидетельствовали о том, что жизнь не покинула еще неподвижно распростертого на полу неизвестного пришельца.

Плохо сегодня молится мать-игуменья, отвлекается ее мысль от слов богослужения. Грудь наполнилась необъятной жалостью к странному незнакомцу; платье и обувь его оборваны, очевидно, видели виды. Поза — страдальца, потерявшего надежду на облегчение. Вспомнились ей собствен-

ные былые муки, страдания без границ и меры. Ее спасли любовь и поддержка матерей Агаты и Серафимии. А что, если у него нет руки для спасения, и погибнет душа?

Захолодело сердце в груди; родилось решение пригнать, облегчить бедную грешную душу... Вздрыгнула задумавшаяся мать-игуменья; перед ней стояла монахиня и подавала освященную просфору. Благоговейно взяла ее и спрятала в складках своей мантии.

— Это страдальцу, — беззвучно шепнули ее губы. Богослужение окончилось. Осененные крестом, стали в шеренгу монахини, пропуская свою матушку. Медленно сошла она со своего возвышения и, шепнув что-то своей келейнице, вышла из церкви.

Долго не мог понять Потехин, что нужно от него трясущей его за плечо монашенке: ...матушка-игуменья... святой жизни инокиня... идти в какую-то келью... плывут через отуманенную голову несвязные фразы. Опомился на паперти. Как пьяный, шел по извилинам дорожек среди благоухания цветов и порхающих пестрых бабочек. Вот и скромный домик игуменьи; переступил порог, и его охватила особая атмосфера келии. Посреди большое распятие, залитое мягким светом горячей лампы. Под окном на высоком резном кресле закутанная в облака крепа женщина с безгранично добрым и кротким лицом. Кто так может смотреть? Его в детстве еще умершая мать? Или это святая с иконы? Нет, на губах ее пробежала улыбка. Что-то говорит, указывает рукой на стоящий рядом с ней табурет.

Опять непонятная сила повлекла его к ней, но не сел, а упал на колени рядом с креслом, беспомощно опустив голову на его поручни. Ласковая рука обняла его и, осеняя крестом, протягивает ему просфору. С широко раскрытыми глазами отшатнулся от нее несчастный: я недостойн... нет... кому-нибудь другому — вырвалось из его запекшихся губ.

— Для благодати Божьей нет недостойных, один раскаявшийся грешник дает больше радости, чем десять праведных!

— На мне кровь и проклятие!

— Смотри на Христа; его кровь смыла наши грехи. А проклятие? Кто наложил его на тебя?

— Бог и судьба!

— Бог не налагает проклятия, а судьба? Почему считаешь свою — тяжелее других?

Надрывающий душу хохот огласил келью.

— Святая душа, что можешь ты знать о жизни?

— Я не родилась в келье, и не радость или потребность подвига привели меня сюда, — прозвучал тихий кроткий ответ. — Кто проклял тебя, отец или мать?

— Нет, он, кого я убил самосудом, и с него начался ряд преступлений и страшных смертей!

С землисто-серого лица смотрели на инокиню полные безумного ужаса глаза.

— Кто ты?

— Пестровский крестьянин Влас Корунов, — прозвучал бессознательный ответ.

Слабая, больная улыбка пробежала по лицу инокини.

— Вот видишь, судьба свела нас — почти земляков. Я из Красноболотова! — и, тихо наклонив его голову, прикрыла ее иноческой мантией. Под нею раздалились тяжелые мужские рыдания. Чуть прижимая рукой прикрытую голову, устремила инокиня свои полные слез глаза на лик распятого Спасителя.

— Боже милостивый, спаси, облегчи страждущего, и если нужна искупительная жертва, пусть я буду ею за него, — летела к Богу пламенная молитва из уст стоящей на краю могилы игуменьи...

Тише и тише рыдания... И вдруг полилась исповедь; от жутких слов ее, казалось, померк яркий солнечный свет в келье. Чудится, как среди ночной тьмы крадется к хлевушку Гнедка согнутая фигура конокрада... Из хаты выбегает Влас... погоня... и все подробности нечеловеческого избиения узванного Григория. Запахом теплой крови обдало лицо игуменьи, знакомый голос просит пощады... тяжело стонет, харкает кровью... трещат ломающиеся кости, кровоточат проткнутые глаза... Как мертвая опустилась, осунулась в глубоком кресле, закрылись глаза на безжизненном лице,

рука соскользнула с головы несчастного, чей крест минутой раньше она самоотверженно просила Бога переложить на нее.

Исповедь лилась и лилась. Промелькнули ограбленный и брошенный в тайге, избитая до смерти Ариша, оставленный на произвол судьбы Василий, страшная кончина новобрачных, тихая смерть второй незаконной жены под горой благоухающих роз и... тишина!

Молчит облегченный исповедью Влас; нет признаков жизни и в монахине. Но вот поднялись ее отяжелевшие веки, слепые от слез глаза устремились на лик Распятого, в груди же ни молитвы, ни жизни...

Трещит масло в лампаде; с жужжаньем бьется об оконное стекло муха. В мертвой тишине кельи наступает суд Бога.

Задрожал от непонятного страха накрытый мантией Влас. Чувствует, будто келья полна людей. Слышит шепот чьей-то молитвы. Чудится ему шелест крыльев над головой монахини. Мать-игуменья сидит, не шелохнется, она тоже чувствует прилет неземных гостей. Из ее немигающих глаз ручьем льются слезы. Нет сил на прощение, просит помощи у Распятого.

Что это? Взмахи нежных крыльев освежают ее разгоряченную голову. Видит ясно Григория, обнимающего подножие креста, рядом с ним тени: Сергея, Зои, обеих умерших жен и брошенного в тайге Потехина. И на всех, разлетаясь брызгами из-под тернового венца, капает искупительная кровь. Тяжело, хрипло вздохнула монахиня, слабой рукой подняла с головы Власа покрывало, и указывая на распятого Христа, прошептала:

— Ныне отпускаеши, Владыко, по глаголу Твоему рабов Твоих с миром. — Обвитая четками рука осенила его крестом со словами: «Иди в мир, Ипполит Потехин, к труждающимся и обремененным».

В эту же ночь осиротела обитель, и почти одновременно с отлетевшей душой игуменьи в ночной тишине далеко по воздуху поплыли двенадцать отдельных, тягучих уда-

ров большого колокола. Монастырь, будя лес и прилегающее село, посылал скорбную весть о своем сиротстве.

Глава XXXVII

Таинственное исчезновение

Ясное раннее утро; ласковое солнышко снопами лучей позолотило верхушки бора и весело играет на прогалинках леса. Боковые лучи заглянули в замаскированное с наружной стороны окно Наташиной комнаты и побежали веселыми зайчиками по стене, подушке и лицу молодой девушки. Один из них добежал до уха и шепчет:

— Что же ты не идешь к ручейку умыться? Почему проспала восход солнца? За что разгневалась на птишек и зверят лесных и не хочешь с ними поздороваться? Все тебя ждут, все тебя любят, все уже по тебе соскучились. Слышишь, как приветливо шелестит под твоим окном белостволая кудрявая березка? Как укоризненно качают своими верхушками не дождавшиеся приветов сосны? Как удивленно заглядывает в твои окна резвая белка? Как, пользуясь твоим отсутствием, прожорливые дятлы своим туканием заглушают пение птиц? Взгляни, как печально поникли головками тщетно ждавшие поливки цветы в палисаднике.

Вздрогнула Наташа. Вспомнила, что сегодня она проводит последний день в лесу, где она выросла и сжилась с природой.

Сегодня ее увезут... Куда? Что ждет ее впереди?

Почему с такой безграничной грустью взглянул на нее младший незнакомец? Почему, под ласковым прикосновением руки старика, сжимается у нее сердце?

Уж не приедет ли за ней та золотая карета с лакеями на запятках, о которой в детстве так часто говорила ей мать? Нет! Время сказок прошло! Одинокая, но счастливая, без-

заботная жизнь в лесу кончена! Что даст ей завтрашний день и будет ли он к ней милостив?

— Послушай-ка, мама!

— Что, моя милая?

— Ты говорила, что у тебя есть настойка из заповедных трав, которая даже умирающему может продлить жизнь, а больному дает силу: дай мне ее; я хочу попрощаться с лесом!

Молча достала старуха пузырек и, накапав в воду несколько капель, подала Наташе.

— Только не уходи далеко, — сказала она поднявшейся с постели девушке.

От дерева к дереву, с полянки на полянку переходит Наташа. Не узнают ее ни птицы, ни звери, ни даже само красное солнышко.

Безысходной тоской покрылось прелестное юное личико, из голубых глаз жемчужными нитями льются слезы. Вот обхватила молодую березку, — сама такая же белая, нежная, стройная, а с дрожащих уст полился ряд нежных прощальных слов ..

— Прощай, мой лес... Я не забуду твоей ласки и привета. Не разучусь понимать твоего шелеста, шума и шороха. Мне никогда не будет страшна твоя таинственная гуща. Не забуду твоих ласковых встреч, не умолкнет в ушах колыбельная песня, которой убаюкивал ты меня, малютку, подвешенную в люльке к твоим могучим ветвям. О, мой лес дорогой! Заменят ли мне тебя люди? Прощай, прощай! Но не забывай меня, как не забудет тебя влекомая куда-то судьбой Наташа!

Крепко обняла березку, поцеловала и просит передать поцелуй всему лесу.

Точно в ответ поднялся ветерок, качнул принявшую поцелуй березку и побежал по всему бору.

Закачались, зашумели деревья, передавая поцелуй друг другу.

А Наташа упала и целует цветы, траву, землю...

— Прощайте, прощайте!

До вечера оставила ее в лесу старуха и только с закатом солнца пришла за ней. Понимала старая, что ее питомица меняет любимый верный лес на неизвестных, часто злых и жестоких людей. Что беззаботная жизнь отошла, надвигается неведомое.

Гадание предсказало ей смерть кого-то из живущих в доме. Но об этом молчите, цветы, не шелести, верный лес. Пусть наговоренная для нее и Василия вода почернела, шумить и бурлит, лишь бы не знала Наташа.

Худой знак!

* * *

К вечеру поднялась непогода. Лес грозно сердито шумит.

Глухой тропинкой пробирается группа людей. В руках у них носилки, Впереди лорд Тольвенор, рядом с ним Карвер, за которым шаг в шаг неслышно ступает Кай-Тэн. В избушке чуть брезжит свет. Там все готово к отъезду; дорожному одеты больной и чуть живая Наташа.

Старуха, сидя в темном углу, крепко держит в руках сову и кота. Время для них мучительно тянется.

Вот тихий стук.

— Все ли готово? Выходите скорее!

Больного осторожно положили на носилки и двинулись обратно. У опушки ждет закрытый автомобиль. Осторожно ступают ради больного. Лес сердито хлещет их ветвями, путает ноги травой, точно хочет остановить, отнять свою Наташу.

Кай-Тэн отстал.

Не отошли и четверти версты, как раздался оглушительный взрыв, разбудивший в лесу многократное эхо. К небу взвился красный огненный столб, порывом ветра разорвался на части, и полетели высоко вверх разноцветные шары. Взрыв был так силен, что его слышали даже в от-

даленных Борках, а село Богородское всполошилось от мала до велика.

С высоты колокольни раздается тревожный набат, далеко разносимый подхватившим его ветром. Народ высыпал на улицу, молчаливо смотрит на невиданное разноцветное зарево. Повторяющиеся взрывы вскидывают головешки, светящиеся цветным огнем.

Ветер по временам доносит запах серы. Никто не трогается на помощь; все знают, что это горит колдунья. Ей помогут, если нужно, черти, а крещеный люд стал против ветра с иконами и молится, чтобы село миновала беда.

* * *

Оглянулась на взрыв и заплакала Наташа, но крепко держит ее за руку лорд. Ахнула понявшая все старуха и с воплем бросилась назад к горящему дому. Избушка вся в пламени, но там у нее запрятаны деньги. Без страха бросилась внутрь. Не отстал от нее и черный кот. Крыша затрещала и рухнула... Разом упал ветер. Тихо, как свеча, горела избушка...

Утром вдали боязливо толпился народ... От пожарища несло гарью и серой... Набожно крестились старушки... С тех пор никто не приближался близко к пожарищу, боясь наложенных чар. Постепенно на него нанесло песка и прозвали его «Зачарованный курган».

ЭПИЛОГ

Порывистым движением Леруа бросил недокуренную сигару в камин¹.

— Я говорил вчера о вас с министром, г. Зенин, — начал он, прохаживаясь взад и вперед по кабинету. — Ваше назначение на пост инспектора Sûreté обеспечено. Поэтому я думаю, что предоставляя вам расследование по делу об убийстве барона Начесси, я не превышаю власти. Остались, собственно, формальности...

Огонек радости вспыхнул в грустных глазах Зенина; тяжелый, мучительный период вынужденного бездействия, необеспеченного завтрашнего дня подходил к концу. Кроме того, ему представлялась возможность выполнить свое решение — предать в руки правосудия эту шайку, причинившую столько огорчений ему и его близким.

— Я не знаю, чем и как благодарить...

Решительный жест Леруа не позволил ему окончить начатой фразы.

— Вы не должны благодарить ни меня, ни даже г. министра; назначением на пост инспектора вы обязаны исключительно самому себе, тем выдающимся способностям и энергии, которые вы обнаружили в свое время при расследовании дела вампиров в России. Не ваша вина, если дух времени не благоприятствовал вам. Кстати, — продолжал он, переходя в конфиденциальный тон, — скажите откровенно, что из прочитанного мною в этой рукописи следует приписать фантазии романиста?

— Как это ни странно — ничего!

— Может быть, есть преувеличение в описании убийств или сопутствующих обстоятельств?

— Ни малейшего! Дело Начесси до известной степени это подтверждает!

— На чем вы основываете предположение, что ваш товарищ Орловский — убит?

¹ См. роман «За закрытыми ставнями».

— Это мое глубокое личное убеждение, основанное на логических выводах и чутье собаки. Осиротевший Нептун все кружил по Гранатному и окружающим переулкам; он-то и навел меня на хорошо замаскированную дверь в стене сада, выходящей на другую улицу; там он упорно нюхал землю и жалобно выл, а потом, обнюхивая следы, бежал до своего дома!

— Почему не хотите вы допустить, что этим путем возвращался Орловский перед своей естественной смертью?

— Мой бедный друг никогда не страдал болезнью сердца!

— Почему же тогда вы обошли молчанием его смерть?

— Я был бессилен и сам должен был уйти в отставку по пословице: «С сильным не борись, с богатым не судись», — горько улыбнулся Зенин. — Но, уже, как частное лицо, я не переставал выслеживать подозрительных иностранцев, уволивших переданный лордом Тольвенором таинственный чемодан, с которым они не расставались. Несмотря на непрерывное переодевание и изменение наружности, к которым прибегали преступники, я нагнал их в Данциге, где таинственный чемодан был почти в моих руках, но... в этот день как раз была объявлена война, и я должен был без замедления покинуть Германию!

В дверь постучали. Вошедший жандарм передал начальнику письмо от следователя д'Арминьи, в котором последний просил его прибыть немедленно в улицу Гренель.

— Все складывается как нельзя лучше, — сказал Леруа, передавая письмо Зенину. — Дело пока в руках инспектора Шюрэ, но он предупрежден и передаст его вам!

Спустя четверть часа могучий «Испано-Сьюза» Леруа подкатил к воротам виллы Начесси.

В кабинете их ожидали д'Арминьи и инспектор Шюрэ; последний встретил Зенина без тени зависти или недоброжелательства.

— Я надеюсь, что вы будете счастливее, коллега, — сказал он, пожимая его руку, — что касается меня, признаюсь, я в полном недоумении. Так как вы принимаете дело, г.

следователь распорядился задержать тело до вашего прихода!

Жестом д'Арминьи пригласил всех пройти в спальню. Зенин должен был призвать на помощь силу воли, чтобы не выдать вдруг охватившего его волнения; колени его дрожали, когда он переступил порог спальни. Там, за этими тяжелыми занавесями, лежал труп с маленькой ранкой на шее, такой самой, быть может, как у дочери Ромова, Мари Перье, Данилова и других. Дрожащей рукой он раздвинул занавеси и впился взором в неподвижно лежащее тело. Наступило продолжительное молчание. Точно в столбняке стоял Зенин, глядя на бледное, без кровинки, лицо убитого.

Начальник полиции и следователь с удивлением смотрели на него, не будучи в состоянии понять, что с ним происходит.

— Однако, вы и нервны, мой дорогой, видно, жизнь вас здорово потрясла за эти последние годы, — заметил Леруа, отечески положив руку на плечо Зенина.

Звук живого человеческого голоса привел в себя последнего. Дрожащей рукой Зенин провел по влажному лбу и поднял на Леруа блуждающий, как у внезапно пробужденного лунатика, взор.

— Кто? Кто это? — прошептал он еле слышно, указывая на лежащий труп.

— То есть, как кто? — засмеялся Леруа. — Да придите же в себя, г. Зенин. Это убитый барон Начесси!

— Нет, нет! Это не Начесси, — с горячностью поспешностью заговорил Зенин, хватая начальника уголовной полиции за руку и подводя к трупу.

— Это Потехин. Понимаете вы, тот самый Потехин, о котором вы читали в мемуарах, у которого был убит сын взрывом бомбы. Я узнаю его черты лица, фигуру, прическу, все, даже его шрам. Видите вы этот шрам, рассекающий правую бровь под острым углом? А вот и ранка той же самой формы, как и во всех остальных случаях. И это выражение глаз! Я точно вижу глаза Мари Перье, убитой в Национальной гостинице в Москве; в них застыл тот же непонятный испуг, результат вызванных гипнозом виде-

ний. Если бы кто-нибудь из присутствующих при осмотре трупа Перье был здесь, его бы поразил этот застывший взгляд — смесь ужаса с бессильной покорностью перед чем-то страшным, нечеловеческим. Умирая, Потехин, конечно, также бредил о чудовищах и вампирах. О, я узнаю дело рук Тахикары!

Инспектор Шюрэ, скромно державшийся в стороне во время диалога Леруа с Зениным, вдруг оживился и подошел к разговаривающим.

— Скажите, коллега, фамилия, которую вы только что назвали, звучит Та-хи-ка-ра, не правда ли? — спросил он, разделяя ее на слоги и делая ударение на каждом, — вы говорили о враче-японце Тахикаре?

Следователь и Леруа заинтересовались в свою очередь; последний в особенности.

— Откуда вам известна эта фамилия, инспектор?

— Около четырех месяцев тому назад в Париже появился японский врач Тахикара; он снял особняк на boulevard Haussmann, где начал принимать больных, применяя с успехом лечение гипнозом; спустя месяц его приемная ломила от пациентов.

— Постойте, — перебил начальник полиции, — теперь и я вспоминаю. Конечно, Тахикара! Вопрос о нем, помню, подымался в министерстве по поводу декларации врачей о лишении Тахикары права заниматься частной практикой.

— Это не удалось, но префектура, подозрительно относящаяся после войны ко всем обращающим на себя внимание иностранцам, поручила нам надзор за Тахикарой. Я как раз руководил этим делом. Результаты надзора были отрицательные, и через два месяца мы его сняли, но у меня осталась моментальная фотография!

Со словами: «Не это ли ваш герой?», он протянул вынутую из бумажника маленькую фотографическую карточку Зенину.

Достаточно было одного взгляда на фотографию, чтобы признать в мелких неприятных чертах изображенного на ней лица виновника стольких несчастий и преступлений.

— Я полагаю, что следует поспешить с арестом этого врача, — заметил деловым тоном д'Арминьи.

— Поздно, господин следователь, — грустно заметил Шюрэ, — спеша исполнить свои обязанности, вы не заглянули в сегодняшние газеты, которые сообщают о понесенной Парижем утрате в лице доктора Тахикары, отбывшим вчера на частном аэроплане в Кройдон.

— Ну, теперь его уже нет и в Лондоне, — выразил свое мнение Зенин. — Он спешит воссоединиться со своим начальником, преступным лордом Тольвенором, который состоит сейчас председателем огромного треста в Москве!

Посвятив вкратце д'Арминьи в историю подвигов Тольвенора, Леруа спросил Зенина, где, по его мнению, могут находиться остальные члены шайки.

— Полагаю, что они находятся там же; с ним, по крайней мере, его ближайший друг и правая рука мистера Эдуард Карвер!

— Что же означал визит Тахикары в Париж?

Зенин пожал плечами.

— Здесь возможны только предположения. Мое мнение, что этому несчастному Потехину стали как-то известны некоторые из тайн этой организации, и его убрали с дороги!

— Каковы бы ни были мотивы их преступления, — горячо воскликнул д'Арминьи, — французское правосудие не может оставить этого убийства безнаказанным. Я отправляюсь сейчас к прокурору республики с докладом. Вам, г. Зенин, я передаю всецело расследование по делу Начесси. Вы должны будете найти доказательства вины Тахикары, установить его связь с шайкой, дать непреложные доказательства существования руководящей воли в действиях этих всех Тахикар, Карверов и других. Располагая этими данными, мы поднимем вопрос о выдаче преступников и... правосудие совершится. Г. Леруа будет любезен принять все зависящие от него меры, чтобы ничто не препятствовало вам в работе!

Глаза Зенина блеснули восхищением. — Вот это называется «работать», — не без горечи подумал он. — Бедный, бедный Кнопп!

До отхода экспресса Париж-Москва оставалось не более пяти минут. Пыхтел и вздрагивал только что прицепленный могучий паровоз, передавая дрожь вагонам. Пассажиры уже заняли свои места; платформа опустела, только кондукторы прохаживались взад и вперед, каждый возле своего вагона, изредка обмениваясь замечаниями.

Возле одного из пульманов первого класса о чем-то оживленно беседовала группа изящно одетых джентльменов.

— Я всю ночь взвешивал «за» и против вашей поездки в Россию, г. Зенин, и пришел к убеждению, что она неизбежна. Только...

Леруа не окончил фразы, собирая мысли, и только после минутного молчания продолжал:

— Я вам дал на помощь г. г. Розье и Верта; это лучшие из наших агентов и знают немного по-русски. Едут они с паспортами торговых агентов, но вы... вы страшно рискуете, а потому я позволил себе выхлопотать в министерстве паспорт на имя...

Зенин умоляющим жестом остановил его руку, уже готовую полезть за выхлопотанным паспортом.

— Так будет лучше, начальник, уверяю вас. Не беспокойтесь обо мне. Заграничный паспорт стеснит меня; как иностранец, я буду находиться под усиленным надзором. Нет, я должен вынырнуть из народа, смешаться с ним и не выделяться ничем из его серой, однотонной массы. Тогда только, никем не подозреваемый, невидимый прямо, я буду иметь настоящую свободу действий!

— Вы правы, — возразил восхищенный и все еще обеспокоенный Леруа. — Так, конечно, лучше. Но (он окинул Зенина коротким испытующим взглядом) признайтесь, что, кроме этого Тольвенора, какие-то личные цели двигают вас на эту поездку?

— Несомненно, — признался Зенин. — Прежде всего, я оставил в России очень близких людей, нуждающихся в

моей помощи, и... я дал умирающему Шацкому торжественное обещание позаботиться о его жене и детях!

— En voiture, — раздались последовательные окрики от последнего вагона к локомотиву.

— Итак, с Богом, — поспешно прощаясь с каждым из своих подчиненных, напутствовал Леруа. — Помните, что посольство предупреждено. Вы не будете испытывать недостатка в средствах, и полномочия ваши широки. Но помните, осторожность прежде всего, не теряйте никогда друг друга из виду и всегда поддерживайте между собой связь, не забывайте еще, в какую страну вы едете. Осторожность и осторожность. Ну, храни вас Бог!

Еще одно торопливое рукопожатие.

Медленно пополз поезд вдоль мокрой от дождя платформы Северного вокзала; все ускоряя и ускоряя ход, выплыл он из-под сводов. Долго стоял Леруа, задумчиво глядя вслед удаляющемуся последнему вагону; все уменьшались и уменьшались его красные огни, исчезали из поля зрения, опять появлялись, но еле видные, словно два острых луча кроваво-красного рубина. Наконец, исчезли в туман осенней ночи.

— Вернутся ли они? — прошептал Леруа, вздохнул, машинально поднял воротник пальто и медленным шагом направился к выходу.

Дождь усиливался.

Книга публикуется по первоизданию (Рига, изд. М. Дидковского, 1931/2) с исправлением очевидных опечаток и ряда устаревших особенностей орфографии и пунктуации. В оформлении обложки использован фрагмент работы студ. Баух-Кизель.

Оглавление

Глава I. Сеанс ясновидения	7
Глава II. В Гнезниковском переулке	15
Глава III. Жемчужное ожерелье	19
Глава IV. Свадьба	23
Глава V. На месте катастрофы	25
Глава VI. Догадки и слухи	32
Глава VII. На стройке	35
Глава VIII. Полонез мертвецов	43
Глава IX. Сны Потехина	47
Глава X. За монастырской стеной	58
Глава XI. На балу у графини Бадени	69
Глава XII. Село Коржевка	74
Глава XIII. Душа отлетела	80
Глава XIV. Набат	86
Глава XV. Погорельцы	89
Глава XVI. Роковая встреча	92
Глава XVII. Тени прошлого	99
Глава XVIII. Смерть в подвале	104

Глава XIX. Рога Вельзевула	107
Глава XX. В театре	112
Глава XXI. В Гранатном переулке	116
Глава XXII. Страшное возвращение	119
Глава XXIII. Предварительное следствие	121
Глава XXIV. Hotel National	126
Глава XXV. Загадка	131
Глава XXVI. Тайна леса	134
Глава XXVII. Храмовый праздник	140
Глава XXVIII. Карьера Бобки	144
Глава XXIX. Неожиданное открытие	149
Глава XXX. У доктора Тахикары	155
Глава XXXI. Бесславная смерть	157
Глава XXXII. Излишнее усердие	160
Глава XXXIII. В кабинете лорда	163
Глава XXXIV. Охота за нечистью	167
Глава XXXV. Паника	170
Глава XXXVI. Последняя встреча	172
Глава XXXVII. Таинственное исчезновение	177
Эпилог	181

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.